ГЕННАДИЙ ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ

ЧЕРВЬ ЗЕМЛИ

(ПОВЕСТЬ)

ГЕННАДИЙ ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ

ЧЕРВЬ ЗЕМЛИ

(ПОВЕСТЬ)

ЧЕРВЬ ЗЕМЛИ

ЧЕРВЬ ЗЕМЛИ

(Рахиль, Ив, Достоевский и Май 1968 г. в Париже)

ГЛАВА І. — ЗЕМЛЯНОЙ ЧЕРВЬ

Человек вышел из земли... Я сам естественник и знаю теории от Библии, через Дарвина, до Тейлар де Шардена. Но существует собственное предчувствие, интуиция. Писатель дает образ, в котором таится зерно истины, зерно правды.

Человек вышел из земли и его первичный образ был червяк. И у него была «душа живая». Вышел из влажной болотистой почвы. Зашевелился и появился на свет. Еще была луна на небе, так как солнечного прямого света червяк не выносит. — Это было, когда четвертый день творения кончился, а пятый только что начался. Червяк предпочитает лунный свет.

У меня был знакомый старичек-рыболов. Он поливал водой из лейки землю где-нибудь у стенки и вообще, где земля не так высушена солнцем и питательна. Когда же совсем зайдет солнце и выйдет луна, он шел на ловлю червей. С электрическим фонарем. — Червяк лежал во весь своей рост и нежился на лунном свете. — Надо было действовать с необыкновенной быстроцой и его хватать! Иначе он стремительно прятался в свою норку. Меня удивляла такая прыть. Правда, для него стоял вопрос жизни и смерти... Хитрости во мне никакой и быстроты мало, — и я не поймал ни одного червяка. Теперь этому рад.

Не будем отталкиваться с омерзением от червя. Разве лягушка красавица? Разве блохастая плохо-пахнущая и неприличная обезьяна лучше червя? А обе, — признано, — наши родственницы. Для меня в черве ничего нет противного. Я не скажу, что он мне так уж нарвится. Но, например, — крысу я ненавижу, а червя нет. — Разговор идет о земляном черве.

Поэт воскликнул: «Я — червь!» В это есть атавистическое предчувствие.

ГЛАВА II — РАХИЛЬ И ИВ

К учителю русского языка Сергею Сергеевичу Головину пришла новая ученица, студентка из Нантерра (Университет около Парижа). Крупная барышня с выпуклыми, как черные виноградины, глазами. В передней они потолкались. — Он старался помочь ей снять пальто, а она крутилась, словно сопротивлялась: то ли не ожидала, то ли не хотела.

В комнате более светлой, чем передняя, он ее рассмотрел лучше. Было в ней что-то чрезвычайно пластичное. Все движения ея были «оркестрированы». Мужчина, например, поднимает руку и поднимается только рука, а остальное тело «молчит», не двигается. Или: повернет голову, — поворачивается только голова. «Оркестра» нет. Тогда как у Рахили (имя ученицы) вместе с головой или рукой, в какой-то симметрии, в гармонии, эти движения сопровождаются «оркестром», аккомпониментом тела, «балетным» и вполне естественным. В этой совокупности, соучастии, — есть и плавность, и своя грация. — Организм представляет из себя единое целое. Даже можно додуматься, что нет специально ни ног, ни рук, а все одно, как у большого червя.

Если Головин ее наблюдал (скрыто), то она его совсем не наблюдала. Для нее это было данное. Как метро или автобус, как дождик или хорошая погода. — Он был учитель. Сергей же Сергеевич интересовался человеком и даже считал, что имел особый талант к его познанию. Для него человек — это мир! Это — книга! Через черты лица, через глаза он открывал эту книгу и начинал с интересом читать. Это не мешало ему давать урок.

Так в ученице он заметил плохую наследственность: глаза имели отблеск густого красного вина вечером при свете лампы. — Некое неустойчивое мерца-

нье. В них не было ясности, глубины, прозрачности. Речь была с лопотаньем. Язык-орган речи-тяжеловат, неуклюже ворочается. Деды и прадеды, видимо, попивали винцо не в меру. Ражиль в этом не виновата, а так вышло.

Она — студентка литературного отделения. У них в программе: Достоевский, — «Братья Каромазовы». На помощь дан Бердяев: «Мировоззрение Достоевского». Также в программе: Толстой, — «Война и Мир»; Тургенев, — «Отцы и Дети»; Гоголь, — «Мертвые Души»; Вл. Соловьев, — «Три Разговора»...

Когда они вошли в комнату, Головин отодвинул стул и сказал: «Садитесь, пожалуйста! » Она подождала, пока он сядет сам. Потом он спросил: «Как вас зовут?»

— «Рахиль», ответила она, не называя фамилии.— «Вы любите русский язык?»

Что тут произошло!!! Весь « оркестр » пришел в движение! Она заломила руки за голову, вытянула шею максимально, приблизила свое лицо, которое в своей выразительности стало прямо страшным и, с расширенными глазами, смотрящими внутрь себя, пролопотала: « Да! Очень!... Я этим живу. Но я очень плохо подготовлена! » При этой последней фразе правая рука ея вскинулась вврех в отчаянии. Голова выпрямилась и лицо с этими глазами уставилось на Головина и застыло.

Какая-то крайняя непосредственность и доверчивость. Это была сама земля, (ребро Адама), в которую Бог вдунул душу бессмертную и разумную. Если грехопадение и произошло, то недавно. И что такое зло, и в чем оно таится и где, — по-настоящему не осознано. — А зло караулит за дверью. — теперь перед Сергеем Сергеевичем был «червь земли», котрого покарал не только библейский Бог, но и не в меру пьющие винцо предки, оставившие ей плохую наследственность и необходимость « искать » государственую стипендию для ученья.

Головин довольно скоро узнал подробности ее жизни. Она сама рассказывала. — В урок входила и «разговорная речь». — У Рахили не было ни «игры», ни кокетства. Это провинциальная деревенская девушка приехала в Париж и по таинственной любви к русскому языку взяла его в университете, не будучи к нему под-

готовленной. А мать желала, чтобы она вышла замуж за инженера! — Мечты матери! Женихи в деревне были, но самые простые. Они смотрели на это крупное женское тело, привлекательное в своей тайной женственности, тайной плавности, тайной распластеннасти на воображаемой кровати. Явной женственности — «форм» — у Рахили было маловато. Но «тайную» женственность Головин, уже искушенный жизнью, видел, а они лишь чувствовали. — Она, как вспаханная, готовая для посева, земля! Сколько в ней обвалакивающей захватывающей силы!

Рахиль была проста, безискусственна и привлекательна. Несчастна и одинока. И умна. Один раз Головин, чтобы ее похвались, сказал: — сказал по-французски, — это казалось ему почему-то более подходящим, « Je vois que vous êtes intelligente, et je suis très content ».

Она ответила: «Нет, я не умна», — с грустной уверенностью.

А толковать надо: «Я многого не понимаю в жизни и в литературе».

 — « Так бы глупая женщина никогда не ответила », заметил Головин.

Когда Рахиль приехала в Париж и поступила в Сорбонну (сначала), то тут ее подцепил молодец, тоже студент, и пристроил к своей кровати, а потом и поселились вместе. — Стал — « женихом ». — Для Парижа частый случай.

Сергей Сергеевич как-то назвал ее « Мадам », а она поправила: « Нет, я еще не Мадам ». У французов в этом отношении строго и формальная сторона играет важную роль.

История с женихом вероятно была причиной ее нервной депрессии. — Одна. В Париже. Поверила. Попалась. А « табачек оказался врозь »...

На летние каникулы она все же повезла его показывать семье. Он же думал: «Еду в деревню отдыхать» и оделся похуже, попроще. Он не учел, что везли «на показ». Что в деревне все принимается всерьез.

Матери он не понравился. Не инженер, а студент. Жениться не женится. Курит трубку и философствует. Одет плохо. Ест хорошо. Но все же решила повезти его в город, чтоб родственники посмотрели. А он вдруг заортачился и ехать не захотел.

— « Het! Вы поедете! » и сказала так строго и так властно, что он поехал.

Надо сказать, что жених, еще до знакомства с Рахилью, тоже болел нервной депрессией еще более сильной, чем у Рахили и был на излеченнив в психиатрической больнице.

- Несчастные! Каковы же будут дети? и наследственность дальше? У детей?
- ...« У нас была очень плохая учительница русского языка... И потом я болела... Прошлый год я почти не занималась. Вялость какая-то. Даже теперь нападает... Я принимаю лекарство...»

Женихи в деревне были, — чтоб она доила коров, чтоб опрыскавала и окучивала виноградники. Готовила обед. Рожала детей... А приданого за ней; — сундук с бельем, да купили бы в кредит « спальню », — то есть: широченную « национальную » кровать и шкаф с плохим зеркалом. А смотреться-то когда? Кому смотреться-то?... Ей, конечно. И в одной рубашке. — Так лучше. Но она своей прелести не понимала. — « Червь земли ». А сколько женщин смотрят на себя в зеркало и любуются и думают, что « осчасливят »!



Его (жениха) звали Ив. Стал брать уроки. Русский язык знал хорошо. Явно умен. Философствовать любит. Галстук носит бабочкой. Трубку курит и она часть его « я ». Очень впечатлителен. — Как-то Головин ему сказал: «Вы знаете, Рахиль умна ». Во время следующего урока он говорит: «Я люблю Рахиль, потому что она умна ».

Головин решил « закрепить » это лестное мнение о Рахиль. Ее ему было очень жалко. Он стал говорить Иву. — « Давайте ей больше свободы. Пусть будет какой хочет, думает, как хочет. Не давите на нее морально. У нее по литературе например свои мнения и это хорошо. Не заставляйте ее думать, как вы »...

- «Я не заставляю. И мы часто спорим. И я предоставляю ей свободу... Но я не хотел бы, не соглашусь, чтобы она мне изменяла. Тогда пусть уходит! »
 - « Так же ворос не стоит? »
 - « Нет, так не стоит! »

— « Рахиль молода, неопытна и хочет осознать. Она крестьянка из далекой провинции, а вы и горожанин-парижанин и старше... Далеко не все женщины умны. При любви, — ум есть источник счастья... »

Головин бы мог добавить. — Вот вы с ней «спите». Ею пользуетесь уже два года... Она мне сказала: «Я еще не дама»... Женитесь. У вас есть возможность. Она же бъется материально, занимая деньги, чтобы мне заплатить за урок.

Вместо этого Головин сказал: «Разница взглядов и разница вкусов не должна мешать счастью, — надо только любить... Ей нравится Толстой, а вам Достоевский. — Вот и хорошо! »

Не надо удивлятся, что Головин как бы вмешивался в их жинзь, давал советы, «нравоучал». У них видимо не было старших друзей и они даже нуждались в друзьях: с кем поговорить, с кем поделиться. Ив с отцом был не в ладах. Отец его был коммунистом и они ожесточенно спорили. Сверстники же существуют не для советов. А Головин давал свои « нравоучения » как свое мнение, совершенно его не навязывая. При чем держался с ними как равный, — « уважая их мнение ». Если с Рахиль урок проходил, как ученье, то Ив жаждал разговаривать, обсуждать вопрос. Иногда бывало так, что время урока давно уже истекло, а он все философствует. Он, например, раз сказал, что, прочитав « Идиота » Достоевского, он пришел ко Христу и именно к православию, а не к католичеству. И что он не крещен, а Рахиль — протестантка, крещена, но коммунистка. «И она не хочет чтобы я крестился», добавил он.

— «Женитесь, а потом креститесь»...



Рахиль уезжала на Пасхальные каникулы и говорила: «Еду с удовольствием! Отдохну. Мне надо... А ведь там ничего нет красивого! Виноградники. Старый крестьянский дом. Ветер. Небо. — А люблю! »...

И надо добавить: старый дом, где жили столетиями предки. Да: слабовольный отец и властная мать, — но ведь это родители! Близкие. Кровь от крови. И она сама-частица крестьянского космоса.

Головин подавал ей пальто и Рахиль говорила: —

«Вы не как теперешняя молодежь. — Они нас презирают»... Она не сказала, но я скажу за нее: «Мы — черви земли, которых нанизывают на крючек. Наша судьба (и женская и крестьянская): чтоб нас использовали. Сначала баре, потом ближайщие горожане, потом парижане, потом Правительство... Что в этом «черве земле», которого я взял, как образ, является «содержанием»? Атавизм феодального крестьянства? Доля женщины-крестьянки, которая, как грустная нота, звучит в ее сердце? Предчувствие своей судьбы? Легкая нервная депрессия, которая заставляет видеть все в мрачном свете? Повышенная нервность вместе с интуицией, которая видит подлинное ничтожное место человеческих претензий в плане смерти и в космическом плане?...

Она не могла воскликнуть, как тот поэт, который сказал не только: «Я — червь!» но и: «Я — бог!» (Державин). Рахиль была совершенно неверующей и об «образе и подобии» понятия не было.

Ив пришел один. — « Я рад, сказал он, что Рахиль уехала. Необходимо нам — мужчинам время от времени оставаться одним. Мы можем говорить о чем угодно, спорить... Мы свободны!... Теперь мы два дня пьянствовали, спорили, философствовали... Были даже... « и он замялся, — видимо искали « женской красоты ».

ГЛАВА III. — ПОЯВЛЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО

Головину бывало трудно, когда они приходили вдвоем. — Это бывало видимо для экономии, так как Головин брал с них двоих столько же, как с одного. Но все их различало и прежде всего крайне-разное знание русского языка, но и разное мировоззрение и разные литературные вкусы. Самым трудным в программе были: «Братья Карамазовы». Ив читал все романы Достоевского, некоторые по несколько раз. Читал и «Дневник Писателя». Был горячим его поклонником. Когда Сергей Сергеевич говорил о Достоевском, то он буквально шил его слова с восторгом. Рахиль — коммунистка и атеистка слушала, вытаращив глаза.

Головин поставил себе задачу, что касается Рахили и в особенности первое время, — дать почувствовать, что Достоевский велик и вечен и «помимо» христиан-

ства, и «вне» христианства, даже если забыть о Боге и о Христе...

« Проблемы добра и зла, говорил он ей, страдания, судьбы человека, и — отсюда — человечества. — они существовали всегда и будут существовать всегда, увы! Вы — коммунисты хотите их разрешить. — Лостоевский тоже. Вы хотите « создать » нового человека. Достоеский «ищет» нового человека, и путь к «новому человеку» у него труден. И он подчеркивает, что человек свободен, свободен делать добро или зло, или и то и другое. В самой натуре человека заложена свобода, он может делать выбор. Достоевский берется за разрешение вопроса о человеке со всею страстностью и даже с жестокостью, с безжалостностью. — « Как и вы », добавил Головин и улыбнулся. Он не слащавая водичка. Это не игра в популярность. — Ведь его затирали, замалчивали. — Он — один, как скала, как огромный метеор, упавший с неба. Оптинские старцы-гордость православия не считали его своим, католики на него вещают всех собак...»

— «Как католики «вещают собак»? переспросила Рахиль, не понимая этого выражения. Головин объяснил, и продолжал. — «Он думал о несчастных не меньше, чем вы и сам страдал. Ведь это он написал: «Униженные и Оскорбленные», «Бедные люди». В молодости (не такой уж) он пострадал за социалистические идеи, был приговорен к смерти и помилован у самого столба смерти. Был на каторге. Страдал эпилепсией, страдал от страсти к азарту, от бедности... В нем была магия исключительного человека как у пророка. Когда он произнес речь о Пушкине, то всех охватил восторг, все кричали, враги целовались... Его метод, диалектика, так ценимая марксизмом. Ведь Иван Карамазов и Алеша, Зосима и Инквизитор тоже диалектика. Он — Достоевский предлагает вам вступить с ним в дискуссию, а я предлагаю понять, признать. Достоевский, — не человек, а явление. «Достоевщина» стала символом во всем мире.. В вас есть «достоевщина», в Иве — тоже, и во мне »

Головин помогал себе руками, игрой лица, выражением глаз, интонацией голоса. — Я излагаю это схематически. — Но после урока Рахиль едва могла двигать ногами. Она обессиленно их волокла. Простая и непо-

средственная, — « червь земли », — сидела как заколдованная, как зачарованная, совершенно не двигаясь, вытаращив и вперевь свои глаза в лицо учителя. А Ив... предложил ему место профессора в Сорбонне.

Когда приходил Ив один, картина была другой. Это был обмен мнений, а также углубление и расширение какой-нибудь литературной темы. Головин был доволен, что перед ним взрослый, умный и доброжелательный собеседник и часто выходил из норм преподавателя русского языка, высказывая например литературные и житейские «подозрения», доказать которые он бы не мог. Только впоследствии он заметил крайнюю впечательность и неуравновешенность Ива, но в обмене мнений Ив был достойным собеседником, а Достоевского знал прекрасно. Один раз Головин сказал: «У Достоевского часто женщины истеричны. Возьмите Грушеньку, Настасью Филипповну, даже Соню Мармелодову или алешину Лизу» ... Маврикий Николаевич говорит Ставрогину про Лизовету Николаевну — «Из под безпрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновенье сверкает любовь... и безумие »... (« Бесы » П. 79).

Конечно Аглая (« Идиот ») кажется нам уравновешенной, но ведь она лишь антитеза Настасьи Филипповны и играет второстепенную роль. Вообще женщина играет вспомогательную роль. Вопрос о судьбе человека решается через мужчину.

На следующем уроке Ив заявил: «Я ненавижу женщин! Это двуличные коварные существа. Не знаешь чего они хотят... Хотя бы Рахиль. То, придешь, — веселая, потом вдруг мрачнеет. Почему? »

Головин стал ему возражать. — « Женщина несет в себе особую красоту, которая, к счастью для мужчин, она не всегда сознает, и которую, к несчастью для женщин, потом разбазаривает и опошляет. Она может нас привести в состояние экстаза, в том числе творческого экстаза. Мы не можем быть без женщины. Во всем мире присутствуют два начала: в электричестве, в магнетизме и даже в химии, — кислота и щелочь... И даже в морали: добро и зло.

Не затронул ли тут Достоевский величайшую проблему, так как он говорит почти о необходимости зла, — то-есть: как данное, как неизбежное, как существу**ющее.** Хотим мы или не хотим, но оно **есть.** Как два начала жизни. И наконец начало женское и начало мужское.

Без этой « двойственности », связанной с ней столквением, борьбой или взаимным стремлением не было бы и самой жизни, как движения, как прогресса, как творчества.

На следующем уроке Ив сказал: «Я люблю находиться в обществе женщин. Я веду себя с ними, как светский человек. И они меня любят »...

Головин, несколько успокоенный за Рахиль, стал с ним говорить о красоте: «Вот у Достоевского есть та-инственная фраза: «Красота спасет мир», это говорит кн. Мышкин. Бердяев считает эти слова «изумительными» и «гениальными». Что меня смущает, что о красоте говорит и Митя Карамазов, то-есть человек наиболее примитивный из братьев Карамазовых. При чем Митя связывает «красоту», видимо, с Грушенькой. — Ведь не можем же мы считать, что Достоевский, думал, что женская красота спасет мир, красота, связанная о полом. Тогда у нас, у мужчин, она тоже есть? Митя говорит, что красота «страшная и ужасная вещь». «Тут дьявол с Богом борется и поле битвы сердце людей». Митя добавляет: «Бог создал одни загадки».

Интересно, что в программу Нантерровского Университета, вероятно и Сорбонского, входили: «Отцы и Лети» Тургенева и Лостоевский с «Братьями Карамазовыми», но последний с общим охватом, так как студентам было дано, как пособие: «Мировоззрение Достоевского » Бердяева, где, конечно, разобраны « Бесы ». Получилось, что они должны были познакомиться с двумя героями-нигилистами: Базаровым и Петром Верховенским, которые подходили, сто лет спустя, — к современному положению Франции. В особенности Петр Верховенский, так как у Достевского была указана и вполне соответствующая атмосфера города с проэкцией на страну. Петр Верховенский был «подан» в чистом виде. — никаких историй с Одинцовой (как у Тургенева), растянутой и мало-удачной. Базаров пассивен, хотя и говорит хлестко, — резать лягушек, — не такая уже активность. — тогда как Петр Верховенский и его двойник Кон-Бендит проявляют необыкновенную активность, проявляют подлинный энтузиазм и, что скрывать, — талант! Сходство — до жути.

С Рахилью Головин часто возвращался к Базарову. В этом случае она принимала участие в обмене мнений. тогда как о Достоевском говорил только Сергей Сергеевич. Но Рахиль признавала, что «теперь», то-есть к этим майским французским безпорядкам, Петр Верховенский много больше « подходит », чем Базаров. И каждый раз Головин чувствовал, что перед ним... червь земли! Прекрасный червь земли. На счет «прекрасный» надо быть осторожным. Во-первых этот «червь земли» не всегда хорощо мылся и являлся потным. — Что соответствет настоящему земляному червяку. Во вторых, у этого « червя земли » была своя крестянская « земляная » « проселочная » мораль и никаких городских комплиментов не признающая. — Один раз она явилась пречисто-вымытая, причесаная, губы у нее маленькие и рот хорошо очерченный, над глазами чуть синева а пальцы рук длинные, холеные. « музыкальные». Что даже удивительно при ее крестьянскои происхождении. Кроме того на ней было платье, которое, как она потом объяснила, сшила « лучшая подруга матери», и которое ей очень шло. Головин возьми, да скажи: «Вы сегодня очень красивы». Сазал по-французски, что выходило довольно обычным комплиментом. У Рахили же глаза вдруг сделались как у совы, которую вынесли на свет! Большие, круглые, непонимающие и нежелающие понимать. Она молчала и строго смотрела... Это было настолько неожиданно для Головина, что он сам стал смотреть, как филин...

**

Гоголя Рахиль очень любила и, когда Головин ей читал отрывки, — радовалась и восхищалась. Было приятно на них обоих смотреть, так как Головин сам читал с подъемом и явным удовольствием. — Оба наслаждаются. — Но и тут «крестьянский червь земли» Рахили сказался. Ей **нравились...** Собакевич и Ноздрев. Собакевича она даже считала положительным типом...

- «Почему?», спросил с удивлением Головин.
- «Он хорошо относился к крестьянам »...

- «Да, но он же всех считал за жуликов и мошенников»...
 - « Может быть они такими и были »...
- « Тогда и он сам. Палец в рот не клади, откусит! » (Пришлось перевести).
 - «А зачем же класть палец в рот? Того и вина »...
- «Он просто был довольно умен и понимал, что крестьяне его скотинка, о которой надо заботиться, чтоб она хорошо работала».
- «Да, но смотрите, даже о мертвых своих крестьянах он хорошо отзывается».
- « Да, это правда! Молодцом! Он добавил пофранцузки: « Un point pour vous! ».

Видимо в Собакевиче Рахиль привлекало, так ценимое крестьянством качество, что он был хорошим хозяином. — Крестьяне сыты, избы прочны. И также, можно думать, — это то « почетное место », которое занимала у него еда. — « Отвалил себе бараний бок, весь съел и косточки обсосал »...

Почему ей нравился Ноздрев, являлось для Головина загадкой и Рахиль сама не могла объяснить... В монотонной крестьянской жизни где-нибудь в захолустье это был бы сюжет для разговора. На какой-нибудь свадьбе, — скандал, о котором бы вспоминали полгода. И потом: по контрасту... Как свето-тень в живописи, как некое бессмысленное удальство, которого они совершенно лишены.



Иногда Рахиль, войдя в переднюю, показывала длинным вытянутым пальцем на уборную и спрашивала: «Можно?»

- « Можно! » отвечал Головин быстро, скрывался в свою комнату и закрывал дверь. Она приходила потом без тени стесненья, явно довольная, что сейчас начнется интересный урок и что она будет учиться.
- «У вас там сидит голубь!» сказала она однажды. Там, это в уборной. И действительно на узком высоко-поставленном окошке сидела голубка и высиживала.
- « Я его даже раз, в полутемноте, за хвост схватил. Вижу, что-то торчит »...

- « А он? »
- « Он ничего. С шумом улетел и меня напугал... А теперь я его знаю: пусть сидит ».
 - «Вы любите птиц?»
- « О, нельзя сказать... Ни птиц, ни рыб. ...Только жареных »...

Иногда приходила-спешила, запыхалась, и сообщала: «Я вся в поту!»

— «Да?», интересовался учитель со всей серьезностью и добавлял с невозмутимостью : «Как лошадь?»

Сравнение ей казалось метким. — Она представляла себе уставшую и потную под южным солцем лошадь, которая пропахивала виноградник и отвечала: «Да, как лошадь».

- « А лучше сказать, продолжал учитель: «Я вспотела», а еще лучше: ничего не говорить. Женщина никогда не должна «потеть», т. е. об этом говорить. Должна хранить в тайне «свои дела», чтоб нас мужчин мистифицировать»...
- «Я никого не хочу мистифицировать», ответила она серьозно.
 - « Да, я знаю... И в этом ваш шарм».

И автор подумал: «Вы— « червь земли » и в этом ваш шарм ». Автору так котелось бы, чтобы в этом « черве земли » читатель не видал ничего унижающего, ничего умаляющего, ничего некрасивого. — это — образ. Библейский Бог сотворил Адама и сказал: «Это хорошо ». Но через некоторое время Он же сказал: « Не корошо быть человеку одному. Нужен помощник ». Вот и вышла Рахиль. Она уже изгана из рая и готова в муках родить детей.

Прелесть ее в этом « примитивизме », в этой простоте, готовности, естественности, доверчивости, непосредственности... И куда она выше всяких « фифок », « финтифлюшек », воображающих о себе дам, выше самовлюбленных умниц...

**

Рахиль уже «втянулась» в Достоевского и принципиальное отталкивание как от религиозного писателя и мыслителя у нее исчезло. Она уже говорила, что Ивана Карамазова нельзя назвать атеистом, так как, на-

пример, в « Легенде о Великом Инквизиторе » он судит Христа с симпатией.

- «И вы должны судить Христа с симпатией, оставаясь атеисткой!» ответил Головин. — Рахиль посмотрела на него с удивлением, и даже с испугом. — Иван Карамазов и есть атеист. Иван Карамазов — носитель идеи, что « все позволено, если... » Разница между вами и им, что он себя считает « чеволеко-богом », а вы. — Маркса и Ленина... Я вас уверяю. Он — теоретик. Для него Христос и Бог оппоненты. Воображаемые. Их возможное существование и роль есть антитеза « реального». Но существование Христа бесспорно... « Человекобог», — любимый термин Достоевского, — это есть только термин, у Ницше он перешел в «сверхчеловека». Сам Ницше сказал, что у Достоевского «есть чему поучиться »... Если бы вы в вашей комячейке заговорили о Христе! Воображаю! Да еще с симпатией!» Рахиль засмеялась и сказала: «Да. это невозможно». И продолжала улыбаться, представляя картину.
- « Достоевский стоит за свободу, за право отрицания, за право сомнения. Вспомните, что говорит Ракитин: « человек найдет в себе силы для добродетели и без Бога »... Это, вероятно, ваша точка зрения... Что получилось с вашей Великой Франц. Революцией? » И с нашей « Великой »? Допустим, что человечество они любят, а человек страдает 50 лет.
- « ...Вы можете отрицать существование Бога. Как же так, говорил Иван Карамазов, Столько зла в мире и есть Бог!? Несовместимо! »
 - «Да! Правда! Что отвечает Достоевский?»
- « Зло в мире потому, что человек **свободен** в своем выборе действия. Совершенно свободен. Что хочу, то делаю. « Все дозволено » это и ведет ко злу. В большом масштабе это привело к Гитлеру и Сталину вообразившими себя « человекобогами », сверхлюдьми. Вот и получилось!
- $\stackrel{-}{-}$ « Какой же это такой Бог? Что же Он смотрел? Допускал? »
- « Во первых, Бог не префект полиции. Во вторых. Вы говорите как Иван Карамазов. Да, я с вами согласен: какой же это такой Бог? Но вы говорите с вызовом, а я лишь пытаюсь понять, не отрицая и может быть даже предчувствуя, что он есть, а какой не

знаю... И каким трудным путем ведет человека к Богу Достоевский. Через страдание и, часто, наказание, — « к новому человеку ».

Христос у Достоевского, можно сказать, является тоже « героем романа », носителем идеи, символа. — Какого? »

Она молчала и ждала, чтоб ответил он сам. —

- «Символом любви к человеку, жертвы для человека, прощения человека. Как Ему не симпатизировать? И это историческая личность. Как Его отрицать? ... Вы тоже личность. Нельзя же вас отрицать! »
- «Я не знаю», ответила она к его удивлению. Надо было понимать: это (т. е. она) не имеет никакого значения. Она была червь земли. И Ражиль добавила.
 - «Я единица целого. Меня можно отрицать »...
- « Вы муравей муравеника! » воскликнул Головин нарочно с легким смехом.

Она же ответила: «Да».

- «Вы же любите, страдаете, прощаете »...
- «Это в счет не идет»... «Я» в счет не идет».
- «Это все в счет! Ведь до полного муравейника мы еще не дошли... »

часть п

ГЛАВА IV — ПОЯВЛЕНИЕ « МАЯ 68 г. »

Ив пришел на урок чрезвычайно взволнованный. — (Это было в мае 1968 г.). Красный, глаза выпучены. Чувствовалось, как усиленно билось его сердце. — «Знаете, что поисходило сейчас у нас в Нантерре?! — говорил он с возмущением. Я только что с железной палкой в руках защищал русскую библиотеку! В течении нескольких часов (Он заведывал этой библиотекой). Латинскую они частью разворовали, частью сожгли. Их может быть сотня, полуторы: кричали, били стекла, ломали мебель, мазали краской стены и писали свои лозунги. Устроили пожар. Сорвали все лекции. Профессоров, в глаза ругали самыми неприличными словами...

- « А что ж профессора?
- « Ничего. Воспитанные люди. Жмутся к стенке. Обижаются. Уходят».
 - «Какие же их лозунги?»
- « Сексуальная свобода! Долой экзамены! Чтоб в Университете занимались политикой. Курили. Постоянно спорили, обсуждали и постоянно осуждали ».
 - « А другие студенты? Ведь их же тысячи? »
- « Да. Но у нас на литературном все больше девочки. Просто боятся. У них же все было подготовлено. Ворвались с палками. Неожиданно... Университет теперь закрыли. А скоро время экзаменов... »
- Вот вам! Появились «бесы» по Достоевскому. А что Петр Верховенский есть?»
 - Да, есть! Кон-Бендит. Сытый. Рыжий. Наглый.

А улыбка как у клоуна. Живет один в двух комнатах со всеми удобствами. Командует и его слушаются. Кричал, что если его будут арестовывать, то они в Университете все стекла выбьют, всю мебель поломают. Заберутся наверх. — Пусть-ка возьмут: «Я буду не один. Сожжем Университет, — все равно он ни к чему! У нас есть горючее! » Раздавали листовки: как устраивать «коктейль Молотова », как строить баррикады... Собираются идти на Сорбонну. — И правда: «бесы », их и зовут «бешенные » («enragés »). У него немецкий паспорт и, может быть, китайские деньги.

**

Ив продолжал нервничать. Теперь он видел и судил события во Франции по Достоевскому. Он принес журнал: «Матч» от 18 мая и стал показывать Головину снимки. «Вот Петр Верховенски — Кон-Бендит! говорил он, показывая на портрет в красках рыжего сытого голубоглазого молодца. Вот он же командует через рупор устройством баррикад. А рядом стоит с легкой презрительной улыбкой... китаец!»

- « Кто же он. Телохранитель? Наблюдатель? Тайный начальник? »
- « Не знаю. Но весь Латинский квартал в руках студентов и « компани ». Идут бои с полицией и жандармерией. Строятся баррикады. Рубят деревья. Выворачиваются камни из мостовой. Готовятся « коктели Молотова ». Пользуются « умело! » даже бульдозерами с построек и автомобилями... Сколько их пострадало! Пожгли!...
 - « А Иван Карамазов есть? »

(Дальше следует — по Иву — как бы раздвоение Ивана Карамазова: один чистый теоретик, другой — «младший» — практический руководитель).

— « Есть! Иван Карамазов — старший живет в Америке. Книжки пописывает против культуры и цивилизации, пользуясь этой культурой и свободой. — Это: Герберт Маркюс (Herbert Marcuse), бывший немец. Ив вынул из портфеля маленький журнальчик: « Литературный Магазин № 18 ». — Смотрите. — Фотография почтенного господина с интеллигентным лицом. При

этом статья, озаглавленная: « Le prophète du « grand refus » — « Пророк « великого отрицания ».

- «Что же он написал?»
- «Эрос и цивилизация» («Эрос» Ив подчеркнул голосом) и также: «Человек одного измерения». И смотрите, продолжал он, — вот другой Петр Верховенский в Германии. В его организации (С. Д. С.) нашли, кроме «Капитала» Маркса, также: «Сексуальную Революцию » Вильгельма Рейха. — Вот и он сам: через рупор. руководит устройством баррикад! и безпорядками. —
- Это был Рудольф Дучке... » У нашего, Кон-Бендита, — тоже немецкий паспорт! »
- « А кто же Иван Карамазов-младший? » По вашему?»
- « Ален Жесмар! Председатель одного из союзов « Преподателей (профессоров) Высшей Школы » ...Здорово руководит. Душа возстания студентов. И умен. Руководит своим Смердяковым.
- « Есть Смердяков? » « Жак Соважо, товарищ председателя « Нац. Союза Студентов».
- « Ну, это я с вами не согласен... Красивый глуповатый молодой человек уже с дипломом... И ведь никого не убил. И законнорожденный.
- « Формальная сторона не имеет значения: законорожденный, диплом... У Достоевского главное: вопрос идеи. А то что глуповат, и следует за лидером, в этом выразилась примитивная сторона Смердякова. Он-орудие ».
- «Помиримся на том, что, если есть Иван Карамазов и даже Иваны Карамазовы, то Смердяковы найдутся и во множестве... Я заметил также, продолжал Головин, что появились так назваемые (мною) «благородные отцы » — Это культурные, либеральные люди, которые ищут популярности и голосов на выборах, и высокопарно говорят. Достоевский дал нам в «Бесах» два представителя: « знаменитый писатель » (будто бы ирония над Тургеневым) Кармазинов и Стефан Тимофеевич Верховенский. Приведу его слова из доклада на вечере губернаторши.

«Энтузиазам в молодом поколении так же чист и светел, как был и что оно (?) погибает, ошибаясь лишь в формах прекрасного » ...И (дальше не помню, сказал ли Кармазинов или С. Т. Верховенский): «Разбросанные бумажки (прокламации), — вся тайна их эффекта в их глупости » (!!!).

Кон-Бендит в **Англии** перед телезрителями никакого успеха не имел. Два флегматичных англичанинажурналиста со свойственным им юмором в двадцать минут показали всю **бессодержательность** и глупость этой « говорильной машины » (по-французски « говорильной мельницы »), т. е. Кон-Бендита, и он быстренько уехал к себе в Германию ».

Даже гимназисты взбунтовались. Хотят без экзаменов прямо в университет! На одном собрании с родителями и провизером (директором) их представитель обругал публично родителей: « Quels c... ils sont! » (Передав. радио Европа 1).

Помните, как сказал Кармазинов: «Мне нравится, что так смело безбоязненно выражено». Или: «Я всегда сочувствовал каждому движению ее» (молодежи). Часть (пусть малая) этой «великодушной молодежи» пять раз поджигала Сорбонну, взломала двери на верхний этаж и подожла таки всерьез. Заняли театр Одеон. Повесили огромный портрет Мао. Спят вповалку. Загрязнили. Висят черные и красные флаги. Ведут безконечный и непрерывный митинг. Петр Верховенский — Кон-Бендит заявил, что разрушение это уже созидание. Он протестовал также против «сексуальной репресси», что для Парижа анекдотично. Куда же дальше? Сказал, что его героем является... Махно, т. е. этот поборник насилия, грабежа и погромов, во время граждан, войны (1918-1920). «Я не провокатор, — заявил Кон-Бендит. Я состою в интернациональной организации, а в какой не скажу! « Ездил по городам Франции, в Голландию, в Бельгию, в Германию, в Англию, -- пропагандировать. Откуда у него деньги? Его пытались задержать и не пустить назад во Францию, так он перекрасил волосы в черный цвет и перешел границу. В амфитеатре Сорбонны его встретили овацией, как ге-.... код

Сытые дети.... В снежки играют, а снежками служат булыжники... И теперь год усиленных солнечных пятен, повышенной нервности и возбудимости.

В Нантерре « бесноватые » во главе с Кон-Бендитом добились права... посещать ночью общежитие курсисток. Но на этом не кончилось. Русскую пословицу «Гора родила мышь » надо перевернуть наоборот: « Мышь родила гору». На дворе сорбонные сотни полуторы студентов галдели, кричали и дрались и была введена полиция. И это стало катализатором. Все студенты объединились на почве ненависти к полиции. которая попрала неприкосновенность этого храма науки и свободы. Подошли не помощь агитаторы из Нантерра. Весь Латинский квартал был занят студентами, выворачивалась мостовая, строились баррикады, пилились деревья, переворачивались автомобили. Полиция и жандармерия (главным образом) разрушала баррикады, а они воздвигались в другом месте. Ходила в атаку с палками, стреляла слезоточивыми бомбами, защищалась щитами. В них бросали камни из мостовой и все, что попадалось под руку, кричали и ругали, как могли... Разгонят, а те соберутся в другом месте...

Главные-явные лидеры восстания: Жесмар, Кон-Бендит и Соважо **снялись самодовольные** и обнявшись. В плане Достоевского это были: Иван Карамазов младший, Петро Верховенский и ...Смердяков.

Сравнение Соважо со Смердяковым вызывает сомнение. Гениально-созданный Достоевским тип Смердякова перерос в своем значении первичное задание и допусакет ряд толкований. Он появился во многих вариантах в Русскую революцию... Соважо действует по указке, по науськиванию. Кто-то есть сзади него. — В этом сходство.

Безпорядки продолжались и разростались. Стали заводы, занятые рабочими, остановилось метро и автобусы, забаставали железнодорожники. В Париже исчезали продукты, которые гнили в деревне. Жители закупали сахар, масло, макароны. Исчез бензин. Стало нехватать денег. Неубирался сор и вонял. Появились крысы. Наступил хаос в умах. Власти не знали, что делать. Демонстрации и манифестации то с красными, то с черными флогами и с девицами на плечах. Главный молчал, а потом уехал. Гастон Дефер — мер Марселя и депутат, который тогда был в Париже, говорил (по радио, после), что власти и все настолько растерялись, что любое министерство могло быть захвачено дестью

человеками. Общеизвестные левые лидеры: Миттеран, Мандес-Франс, Ги Моле, «соглашались» принять власть. Снялись вместе, — самодовольные.

Бунтовала сытая прекрасная Франция, во главе которой стоял национальный герой, слава которой была велика и франк которой считался лучшей валютой.

С жиру? Из-за солнечных пятен? Недовольные, что не могут сказать свое слово (Парламент перестал быть их отдушиной) Спасли Францию... коммунисты тем, что не присоединились к движению «студентов». Научил ли их русский опыт? Не доверяли «студентам» — почти анархистам? Не было у них Ленина?

Спас и Генерал, который, заручившись лояльностью армии, остался на месте, распустил парламент и назначил новые выборы и, напуганный безпорядками народ, дал ему небывалое большинство.

ГЛАВА V. — ДОСТОЕВСКИЙ СИМВОЛИСТ И ПРОРОК

Ив решил стать специалистом по Достоевскому. И потому уроки проходили под знаком расширения темы о Достоевском...

Сергей Сергеевич стал говорить о символике Достоевского, о том, что основные типы Достоевского являются одновременно и идеями. Но он предупрежал Ива, что надо различать Достоевского — автора « Дневника Писателя», где он является человеком своего времени, своей эпохи, — о чем забывают даже маститые критики, и Достоевского — автора романов, — здесь он гениален и вечен. При чем интересно отметить, что некоторые его типы продолжают нести свою идею и дальше и теперь, являясь символом, другие, получая как бы « живую душу», начинают жить самостоятельно. — Достоевский писал: «Я не знаю еще, что у меня выкинет Ставрогин» (Цитирую по памяти, — добавил Головин). И действительно Ставрогин обладает особой магией, особой властью над людьми и теперь, и даже, в свое время, над... Ницше. Достоевский совершенно не собирался давать Ставрогину эту «власть», это «очарованье» (в прямом значении слова). Тоже произошло и с Печериным у Лермонтова и мы забываем например, что Печерин имел мало-привлекательную наружность, как и сам Лермонтов. (Что мы тоже забываем!).

«Достоевщина» стала символом во всем мире, но символами стали напр. и Раскольников, как носитель «идеи». Иногда эти типы — носители идеи, как литературные типы, могут казаться нам «ходульными», малживыми людьми, — например Алеша Карамазов. Но не забудем, что Достоевский не имел (для главных героев) прототипов, с которых он бы «списывал», как другие писатели. При нем не было ни Ставрогина, ни Мышкина, ни Кириллова... они появились значительно после. Я даже подозреваю, добавил Головин, что Достоевский сам не ожидал, что Смердяков явится настолько символической фигурой.. Само понятие символа, — из конкретного переходя в абстракцию, — допускает большое разнообразие и углубление...

Посмотрите на теперешние майские события в Париже! Да ведь они все по Достоевскому! воскликнул Сергей Сергевич... И посмотрите, как маленькое событие, — нечаевская история, — была тем жолудем из которой вырос дуб «Бесов», — и опять таки, — роман задуманный, как сатира, почти как буффонада, превратился в гениальное произведение и «бесы» оттуда через 50 лет учавствовали в Русской Революции и еще через пятьдесят лет спустя, появились в Париже! ...Еще через пятьдесят лет появятся в другом месте... И опять...

Ив был совершенно захвачен символикой Достоевского. В связи с событиями в Париже (майскими) он видел ее во всем. Расширял и распространял ее на явления, казалось бы, неподходящие. Старик Карамазов стал у него... Сорбонной! убитой коллективным Смердяковым. Генерала он сравнивал со старцем Зосимой. В этом примере есть диалектика. Два полюса. Теза и антитеза. Смиреннейший старец и национальный герой с манией величия.

— «И конечно, продолжал Ив. — «Все дозволено», если Бога нет и бессмертия души нет. О бессмертии души современная молодежь и не думает, и лишь у незначительной части этой молодежи Бог занимает «традиционное место», пойти в воскресенье в церковь... Эрос же старика Карамазова, подкрепленный фильмами и литературой, расцвел пышным цветом...».

- «Вы о бесмертии души, вероятно, тоже не думаете? « спросил с легкой иронией Сергей Сергеевич.
- « Да, мало думаю. Может-быть по-молодости. Но мой герой князь Мышкин, а он-то думал. Бог для меня не пустое место, а с Ним и мораль... Хоть в какойто мере... А вы, Сергей Сергеевич, думаете о бессмертии души? Верите? », спросил Ив без всякой иронии, желая « почерпнуть правду познания » « Представьте! Верю! Отвечу словами Зосимы: « Доказать нельзя, а убедиться можно ». Ощущением. И заметьте! Достоевский о загробной жизни не распространяется. Он очень честен. Он практически, явно или скрыто, говорит: не знаю.

...А что касается морали, то пострадала особенно половая мораль. И даже можно задать вопрос: есть ли она вообще — в тайне души, — у современной молодежи? Карамазовское: «Все дозволено». Свобода пола. Курсистка стала потребительным объектом. С пилюлями. С отсутствием идеала. Раньше желанная женщина, любимая девушка, бывала в молодом возрасте целью жизни, своего рода идеалом, которого надо достигнуть, добиться. А теперь — «все дозволено». Разрешено посещать общежитие курсисток ночью, можно публично их нести на плечах и целовать во время публичных демонстраций... Свобода пола. Пилюли. Доступность. Валяй! Отсутствие морали. Появилась идеалогия, — долой идеалогию!

Освободилась сила. — Куда ее деть? **Ни Бога, ни де-**вушки... А тут еще година солнечных пятен повышает нервность... И бросают камни в полицию, как в снежки играют!

А что делать некрасивым девушкам!? Полногрудые, изогнувшись, расставив ноги, — тоже бросают камни!

Нужен пророк, чтобы вернуть Бога людям! Новый великий пророк. А не папство, воображающее себя безгрешным! Требущее безропотного послушания. Папство ненавидел Достоевский, как лишающее человека свободы, как требующее «послушного муравейника», «послушного стада». Конечно, не один Папа так хотелбы. Мы видели (знаем) и других. Не правда ли?

— «Да, да!»

^{— «}Помните? «Отрицание необходимо для жизни. Одной «осанны» мало».

— « Да, это сказал Иван Карамазов. Но не забудьте, что у него « черт ум съел ». И Ив стал говорить о черте, как о действующем лице во ...французских безпорядках (!).

Ив был сыном своего времени и не нужно думать, что он говорил о « конкретном » черте, о « религиозном » черте. — Это мы могли бы подозревать у Гоголя в его последний период жизни. Ив был сыном своего времении и одновременно « сыном » Достоевского, — что вполне совместимо. Черт у Ива и у Достоевского были « духовной реальностью ». Русская поговорка: « Черт попутал » совсем не обязательно подразумеват рогатого и хвостатого черта. У Лермонтова в « Демоне » демон был тоже « духовной реальностью », хотя какой-то помещик и приказал поместить Лермонтова — « портретно » в аду в церковной фреске вместе с рогатыми и хвостатыми чертями.

Головин не без удивления смотрел на своего ученика, на его круглую умную голову со слегка бычачьими глазами, который в своем возбуждении черпал доводы из самого нутра своего. Ив как бы являлся антитезой Ивана Карамазова в «живом виде». Даже возраст был один и тот же. Настолько Ив был по линии Достоевского. А что черт был персонажем у Достоевского, — не было сомнения. Это он скрыто ведет игру, все путает и разводит (размножает) своих бесов. Только Достоевский, как многие русские-верующие того времени, избегает произносить это слово и (или) его камуфлирует. Русский язык богат словами этого порядка: дьявол, сатана (высшая категория), черт и демон (следующая), бес, и наконец: шут (« шут его возьми» последняя). Черт появляется у Достоевского лишь в бреду Ивана Карамазова и носит какой-то шутовской (мало-серьезный) характер. Когда же дело касается дьявола-падшего ангела-носителя зла, то Достоевский совсем не хочет произнести это слово. — В « Легенде о Великом Инквизиторе» Кардинал говорит Христу, «Мы не с Тобой, а с ним», — то-есть: с дьявовлом. — В этом была « тайна» кардинала. Считаю долгом напомнить, что кардинал-аскет искренно верил в правоту своего дела и он обвинял Христа, что Он не захотел последовать за этим « н-им », который соблазнял Его в пустыне, и не захотел превратить камни в хлеб и тем напитать народ, не захотел **показать** чудо (броситься со скалы и ангелы бы Его подхватили), — а чуда жаждет народ, и не захотел взять меч и покорить весь мир...

ГЛАВА VI. — СРАВНЕНИЕ

Так беседовали с оживлением Сергей Сергеевич и Ив и наконец решили: «Давайте подведем итог и проведем параллель между май-июньскими событиями в Париже (и во Франции вообще) в 1968 году и «начертаниями» Достоевского в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Они стали перебивая друг друга приводить сходные элементы.

Достоевский. — « Орудуют русские мальчики... Об анархизме заговорят. О переделке всего человечества.

События в Париже. — О рудуют « французские мальчики », говорят об анархизме. о переделке современного общества.

Достоевский. — Иван Карамазов — большой (как носитель идеи), теоретик отрицания вплоть до насилия. «Все позволено »...

Для Парижа. — Носитель идеи и теоретик отрицания и насилия: Герберт Маркус из Сев. Америки.

Достоевский. — Иван Карамазов — малый, конкретизация идеи « все дозволено »... в результате чего, наученный им (сознательно или нет) Смердяков убивает порочного старого Ф. Карамазова.

В Париже. — Ален Жесмар — вдохновитель революционного движения студентов, стремится с помощью Соважо уничтожить старый «порочный» строй нашего общества, который вполне может олицетворять Ф. Карамазов (по мысли А. Жесмара).

Достоевский. — Петр Верховенский (« Бесы »). — « Чем хуже, тем лучше ». Наглости необыкновенной. В связи с какой-то революционной организацией, а с какой не говорит. Фактический руководитель безпорядков. Не лишен таланта и упорства, « иные считают (...) — с гениальными способностями » (« Бесы » П, 226).

В Париже. — Кон-Бендит. — «Разрушение уже есть созидание». Наглости необыкновенной. В связи с интернациональной революционной организацией, «а с какой не скажу» (Собственные слова). Фактический руководитель безпорядков. Не лишен таланта, и упор-

ства. Некоторые считают, что с гениальными способностями. (Слышал). Тоже Рудольф Дучке в Германии.

Достоевский. — Смердяков. Жуткая фигура, показывающая нам к чему может привсти конкретизация идеи на практике. Увы, в жизни мы это встречаем в большом масштабе.

В Париже. — Со студенческим революционным движением-порывом призошла смердиковизация, которая выразилась в неоднократном поджоге Сорбонны, в разгроме и поджоге Нантерского университета, в уничтожении библиотеки, занятии и крайнем загрязнении театра «Одеона», в безконечных разговорах. Ив даже Ж. Соважо — лидера Нац. Союза Студентов называет Смердяковым, что оспаривается Головиным.

Достоевский. — Убийство Карамазова-отца.

В Париже. — «Убийство » Сорбонны и Нантерра.

Достоевский. — Кириллов человеко-бог.

В Париже. — Ген. де Голль — человеко-бог.

(Это можно говорить только в смысле самой идеи человеко-бога, неоднократно выдвигаемой Достоевским, тогда ген. де Голль подпадает под эту категорию. Если же мы возьмем Кириллова, как человека, — то это фигура слишком достоевская. Я напомню слова Кириллова: «Я еще бог только поневоле и я несчастен» (П. 171). В этом случае предпочтительно принять сравнение со старцем Зосимой, — как антитеза). Достоевский. — Хромоножка — Лебядкина.

В Париже. — Палата депутатов созыва до безпоряд-KOB.

Достоевский. — Кармазинов и Стефан Трофимович Верховенский. — « Энтузиазм в молодом поколении так же чист, как был» («Бесы», П, 32). Оба ищут популярности у молодежи.

В Париже. — Большое количество политических деятелей, ищущух популурности. Их слова: «Великодушная молодежь», «чудесная молодежь». «Полная энтузиазма »...

Достоевский. — Федька — каторжник.

В Париже. — Так называемые «Катанге» и вообще темный элемент, присоединившийся к студентам.

Достоевский. — « От Смоленска до Ташкента с нетерпеньем ждут студента» (Из прокламации Петра Верховенского).

В Париже. — Так думали Ален Жесмар и лидеры одного из рабочих синдикатов: « С. Ф. Д. Т. ».

Достоевский. — Оказалось, не так уж ждут (студента), — Слова Липутина («Бесы» II стр. 110).

В Париже. — Оказалось, не так уж ждали (студента). Обыватель, многочисленный класс мелкой буржуазии были прямо напуганы размахом и формой парижских безпорядков. Даже С. Ж. Т., — самая большая рабочая синдикальная и прокоммунистическая организация от них отгородилась.

Достоевский. — Эрос карамазовский. И не только карамазовский. Вспомним хотя бы Свидригайлова из «Преступления и Наказания», от которого надо было «охранять Дуню» « целомудренную до болезни». В свое время эротический элемент в произведениях Достоевского удивлял и приписывался он его болезненной и даже порочной натуре. Поговаривали, что... Выкопали « Исповедь Ставрогина».

Перед нами сладострастный эрос старика-Карамазова и буйный эрос Мити Карамазова. Достоевским подчеркнут истерико-эротический элемент в натуре женщины. Эрос, как двигатель жизни, открыт Достоевским задолго до Фрейда. При чем эрос — это не только пол. Ему просто пола мало, хотя присутствие пола, наличие пола, — необходимо.

В Париже. — Эротический элемент в майских студенческих беспорядках не изучен, но он явно присутствет. Маркус говорит об « освобождении эроса », КонБендит ратует против « сексуальной репрессии ». В процессиях девицы сидели на плечах молодцов и попутно с ними под черным флагом целовались. Студенты Нантерра добились права посещать студенток и ночью, — это-то и была их первая « университетская » победа.

Достоевский. — « Обожглись на свечке ».

В Париже. — Этой « свечкой » был ввод полиции во двор Сорбонны.

Достоевский. — Началось с поджога, хотя и быстро потушенного хозяином дома, где жили Лебядкины. И тем не менее «целая улица пылала благодаря сильному ветру».

В Париже. — «Запылал» весь Париж, благодаря «попутному» (в душах) ветру.

Достоевский. — « Пожар был в умах, а не на крышах домов ».

В Париже. — Пожар был в умах.

Достоевский. — « Полиция тотчас же показалась и грозно повелела разойтись ».

В Париже. — Полиция тотчас показалась и повелела разойтись.

Достоевский — « Это нигилизм »!!! (Лембке. — Губернатор. « Бесы », П, 62).

В Париже. — « Это нигилизм »!

Достоевский. — «Ну можно ли, чтобы санки, слетавшие (в тексте: слетевшие) сверху, остановились по середине горы? » («Бесы », I, 440).

В Париже. — Студенческие волнения вылились в революцию. Остановить «санки» было невозможно.

Достоевский. — «Вздор, что (...) проходившая мимо бедная, но благородная дама была схвачена и немедленно для чего-то высечена». (Сообщала одна из петербургских газет. — «Бесы» I, 470).

В Париже. — Будто бы жандармы (С. R. S.) вытащили студентку и с криком: «А poil!!! » немедленно для чего-то ее раздели. (Сообщил «Le Monde»).

Достоевский. — « Рабочие Шпигулинской фабрики чинно шли (...). Их нагло обсчитали »

В Париже. — Рабочие « чинно » заняли свои заводы и фабрики, считая, что их обсчитывают, — то-есть платят крайне мало за их труд.

Достоевский. — Губернаторша сказала: «Простите!» (« Бесы », П, 57).

В Париже. — Применимо вполне, но, конечно, с толкованьем. В лице губернаторши выступает, приехавший из Афганистана, первый министр Жорж Помпиду. Не сказал ли он практически: «простите», согласившись на крайне уступки и студентам и рабочим?

ОБА: и Иван Карамазов и Герберт Маркюс являются представителями разума и философской мысли. Они как бы не отвечают за практическое приминение их мыслей. Найдутся люди, которые будут их оправдывать во имя свободы мысли.



Пришел Ив и смотрел на Головина горящими гла-

зами. Он рассказывал, что был в театре «Одеон», занятом «студентами». Его обыскали и взяли «за вход» один франк. Шла там бесконечная бессмысленная «говорильня». А кто-то тайный этим беспорядком руководил и кого-то бессмысленно слушались. «Люди обрадовались, что повели их как стадо» — слова Достоевского (Б. К. 323) сказал Головин. — И еще его слова: «Мы разрешим им и грех» (Б. К. 325) — А они как раз и хотят права на грех, в особенности на половой грех... Но и другой: взять чужое, брать чужое, — не своим умом, не своим трудом сотворенное. ...Вы же талантливы и хотите учиться...»

Чтобы отвлечь его от парижских событий, которые Ива волновали настолько, что Сергей Сергеевич боялся, кабы он ни заболел, — при его привышенной нервности и чувствительности, — они стали говорить о « Легенде ». (Уже не первый раз). Головин старался перевести обмен мнений в чисто теоретический план без связи с « символикой » и современными событиями.

- « Обратите внимание, говорил Сергей Сергеевич, что в этой « диалектике » бесспорно диалектике, не правда ли? между Христом и Кариналом, Христос все время молчит. А обмен-то мнений происходит. Спор происходит. Совесть Кардинала, пробужденная присутствием Христа, спорит с самим Кардиналом-жестоким инквизитором! ...Будем надееться, что совесть спорит.
- « Что есть истина? » сказал Пилат. (Ев. от И. гл. 18 ст. 38).

Христос молчал.

— « Разве не знаешь Ты, что Ты в моей власти? »... И Кардинал грозил Христу Его распять, сжечь на костре, если Он « придет более », — то-есть снова...

Кроме того «диалектика» существет и в наших душах. — Мы отвечаем (говорим) за Христа. Найдутся которые будут и за Кардинала. Газетные подлипалы например. Революционеры-материалисты-социалисты (надо добавить: крайние) которых так не любил Достоевский. Он видел их красоту слова и пустое нутро, а если б они пришли к власти, то получим: отсутствие свободы, «муравейник» и, скажем за Достоевского, — бездушную бюрократию. Все будет организовано вплоть до удовольствий, — об этом он так пророчески говорит...

Для меня остается загадкой, продолжал Головин, последняя сцена в «Легенде», когда Христос-пленник старика — Кардинала-инквизитора «вдруг молча приближается к старику и тихо целует», Я, (подсознательно, ощущением) считаю эту сцену совершенно гениальной, но до моего сознания объяснение этого поцелуя не дошло. Что хотел сказать этим Достоевский? — Дал всепрощающего Христа? Не думаю. Не забудем, что Кардинал был «с ним» — (это была его тайна), то-есть с дьяволом, с тем дьяволом, который соблазнял Христа в пустыне, а не с иван-карамазовским шутовским чертом. Вы знаете, что я думаю? Что Достоевский ничего не хотел сказать. Эта гениальная находка появилась у него, как образ, глубины неисчерпаемой. — И старик-Кардинал вздрагивает и говорит: « Ступай и не приходи более (...) никогда!» (« Бр. К. » стр. 330).

ГЛАВА VII. — ИВ ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕЛ

В понедельник — день Рахили — она не пришла и не позвонила, не предупредила. Потом Сергей Сергеевич получил от нее письмо с извинениями. — Заболел очень серьезно Ив и она потеряла голову...

Через некоторое время позвонила и сказала, что придет на урок. Иву лучше. Пришла пешком, так как ни поезда, ни метро, ни автобусы, ни такси не ходили. Бастовали. Натерла себе ноги до волдырей. — Сама об этом сказала.

- « Расскажите, что с Ивом.
- «О, это было ужасно!!! Началось-то смешно. Ив стал представлять... вас. Замечательно. Было очень занятно. Удачно. Голос. Мимика. Как вы нас учите. Я от души смеялась. Потом лег на кравать и стал что-то борматать и вдруг стал меня ругать! Говорить, что я не могу ему дать счастья. Был очень груб. Я не понимала в чем дело... Как бы успокоился, но смотрел на меня воспаленными глазами и с виду спокойно говорил, что он меня... зарезал... Уже. (Видимо, как Рогожин из «Идиота»). Я старалась не показываться ему на глаза и не шевелиться. Вдруг он встал на кровати, раскинул руки крестом и заявил, что он Христос. Я окончательно поняла, что он сошел с ума... Он же с кровати слез и стал медленно и молча ко мне приближаться. Я чуть

не умерла со страха! Стояла-не двигалась. И бежать было некуда! ...Подошел и меня... поцеловал.. .

- « Как Христос в « Легенде о Великом Инквизиторе ».
- «Да... Я нашлась. Стала его успокаивать. Говорить, что **Христос добрый.** И он действительно несколько успокоился. Стал строить планы, чтобы нам поскорей пожениться и иметь много детей. (В глазах Рахили промелькнуло чувство радости)... Рано утром пришел доктор и сказал, что Ива необходимо отвезти в психиатрическую больницу. И мы с отцом Ива повезли ».
 - «Он не сопротивлялся? »
- « Нет. Там он заявил, что : его отец, он и доктор, — Святая Троица.
 - «Какой же диагноз поставил доктор?»
 - «Вы знаете как. Ничего. Надо лечить!»
 - « А у вас какое впечатление? »
- « Плохо. Надолго. Вы знаете, как там. Ведь это тюрьма. И выйти оттуда не так легко».
- «Вы скажите в Университете про Ива. Объясните. Ив был прекрасным и знающим учеником. Хотели оставить при университете. Пусть переведут без экзамена.

Желая развлечь Рахиль, Головин стал просить ее произносить « л »твердое », самое трудное для французов.

— «Держите язык вытянутым и « твердым », и трогайте, только быстро касайтесь им зубов, а горло, как для « ы ». Пробуйте: «лук, лампа, лоб »...

Они показывали друг другу и язык и зубы, — как дети...

Только теперь почему-то Головин рассмотрел, что Рахиль была плохо-мытой, потной и нечесанной. Но он продолжал чувствовать к этой молодой простой, и несчастной женщине жалость и симпатию. — « Червь земли », подумал он в шутку, « никогда не моется ». И только теперь, — неизвестно почему, — он взглянул на ее ноги. — Они сидели под углом, — и ахнул: это были огромнейшие высоко-обнаженные колени. Рахиль не одергивала на них стыдливо юбку и, еще больше того, колени эти были широко расставлены, вместо того, чтобы « пюдикеман », как делают француженки для большей привлекательности, чтобы « пюдикеман » их

прижимать одно к другому... Несмотря на отсутствие красоты, невольно сказывалась притягательная примитивная власть женского пола. И странным казалось это животное преломление по сравнению с глазами Рахили, полными сердечности и человеческого богатства.

Уже привыкшая к Головину и расстроганная вниманием и сочувствием, она с напряжением и даже с удивлением смотрела в глаза Головину, словно открыла в нем нового человека. Глаза ее загорелись и приобрели глубину. Она смотрела на него даже со страхом...

Но это длилось одну-две секунды. Будучи « червем земли », она не верила в свою победоносную притягательную женскую силу, с другой стороны ее « крестьянская честность » заставляла ее остаться абсолютно верной своему Иву. В результате секунды борьбы она спожватилась и сознательным усилием воли эту рожденную « женскую симпатию » к Головину погасила, как тушат свечку или задувают керосиновую лампу: « Пфу! » И глаза Рахили потеряли глубину. В них снова появился отблеск зрелого винограда на вечернем солнце, — пьянящий и бессмысленный...

Она не знала, — эта простая прекрасная молодая женщина, что можно « оставивши все, устремиться к ней и, раскрывши рот, смотреть на нее » (..) « и прилепиться к ней боле,е чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи ». Она не знала, что « человек оставит воспитавшего его отца и страну свою » (...) Что « человек оставит душу ». Она считала, что она « червь земли ».

Май-сентябрь 68.

Последние цитаты взяты из Второй Книги Ездры гл. 4, ст. 19-21. Взяты они в единственном числе и совершенном виде глагола.

РАССКАЗЫ

виргилий

Я жил или присутствовал в жуткой обстановке огромного закрытого подвала, где работали, как каторжники, почти голые потные мужские тела. При слабом красно-желтом свете они делали что-то у машин на скользком от грязи и сыроти полу. Они были молоды и мускулисты без красоты и грации. Шутки их друг с другом были так грубы, что и передать невозможно. Они хватали друг друга, хлопали, мочили и гоготали опачкав. — А работа все продолжалась.

Я был около на площадке, — тремя ступенями выше. Пол, на котором я стоял, был также грязен, а света еще меньше.

Они видали меня не раз, привыкли и совершенно не стеснялись. Я не мог им вредить, а учить и осуждать не хотел. И даже больше того, — я понимал их шутки и, бесстрастный внешне, внутренне улыбался, думая: до чего может дойти человеческая шутка! До какой степени грубости! До какой степени изобретательности! — А шутка, видимо, нужна была! Только о на их радовала. И потом, только о ней вспоминали. — Это « потом » — был грязный угол и тряпье. О дельнейшем « потом », большом « потом », — они не думали. — А я, с жалостью и без надежды помочь, представлял их конец.

Мне казалось, что я был не один. Со мной рядом, словно тень, — кто-то. Не он ли привел-приводил меня сюда, как тень Виргилия водила Данте в ад? Почему я был-бывал здесь, — мне остается тайной. И было даже тайной, — могу ли я здесь **НЕ** бывать.

Для чего нужно было? Что познать? — Здесь душа моя была зрительницей, а тело мало телесно... Кто был

я среди них? Гость-чудак? С Луны или Марса? — Злобы ко мне никакой. И вообще злобы у них было мало, а могло бы быть! В их грубых шутках я не учавствовал и тело мое не должно было так « каторжно » работать ». — Да, но уверен ли ты, т. е. — я, — в этом? Уж очень мое тело, которое на трех ступеньках, уж очень оно безтелесно. — А может-быть это есть одна моя душа, а они просто меня не видят? А кто это в углу за точильным камнем в темных очках от искры и осколков? Он тоже в шутках участия не принимает. Может-быть это и есть я — мое тело?... И потом, отточивши что нужно, отработав, он — я уходил, превращаясь в денди. — Так как был у меня и еще мир, куда я приходил, как в гости, элегантный и слегка задумчивый. И этот другой мир открывался мне сначала, как большая поляна с цветами. — Сколько воздуха, простанства, неба и зелени! На большом холме, — дом. Два крыла, Колонны. Крыльцо с тремя ступеньками. Можно сравнить дом с нехристианским храмом.

Хозяйка, седая дама, приветливо угощала. — Трудно ей было признать меня совсем. — Пожилые люди мало доверчивы, а душа моя ей не открывалась. Зато ее три дочери... Девичья псхика импульсивна и построит любые замки... — Мы стали друзьями. В форме возвышенной мы говорили и спорили о Боге и красоте, о счастье и помощи ближним... Но даже в этом прекрасном миру я оставался отрешенным, — словно тень Виргилия была рядом.

Однажды в саду (за домом был сад) я шел с младшей, наиболее порывистой. Вдруг ее маленькая ручка пробралась под мою и сжала ее у сгиба локтя.

- Вы знаете, сказала она, смотря на меня снизу вверх, и я удивился ее взволнованному лицу и улыбнулся любуясь, Вы знаете, повторила она.. мы все в вас влюблены».
 - Как все? Кто все? спросил я.
 - Все три сестры.
- Но ведь старшая ваша сестра, насколько я понял, — и простоте за откровенность, — имеет серьезного претендента, почти жениха?
 - Да,но и она готова быть... (влюбленной).
- А средняя, такая сдержанная, народ сказал бы : « гордая »?

- Это только хуже и сильней...
- А у вас весна будет каждый год...
- Мы ждем той весны, за которой последует единственное лето, ответила она.
- Что с вами, сказал я, сжав слегка ее руку своей, вы стали взрослой? Но шуткой мне отделаться не удалось и она продолжала:
 - Вам решать.

Она была глубоко права. Фактически я был прижат к стене Эффект, произведенный прекрасной спутницей, был очень силен. До сих пор я смотрел на них как на картину, где были нарисованы три барышни. — И вот, одна стала живой, протянула мне руку, чтобы я помог ей выйти из рамы, или, — чтобы я вошел к ним в картину и стал ее частью.

Кто этот Виргилий, который мешает мне распоряжаться мной же и водит то по притону каторжного труда, то в прекрасный сад, где мечтают девушки? — Спросить Виргилия! Взбунтоваться!

Но увы! — Виргилий — это часть моего я, это я сам.



(Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

СЛАБОЕ ВОСПОМИНАНЬЕ

По незнакомому городу шел я с моей подругой бледной и голубоглазой. Она была высока ростом и суховата. Оба мы — спортсмены-любители приехали на состязанье по легкой атлетике.

Если спорт убивает темперамент, то он развивает чувства товарищества. И мы шли теперь, держась за руку и любили мы друг друга просто и без выкрутас. Теперь мы искали товарища, которого встретили когда-то на другом состязании. Найти было не так легко...

Дорога-пыльная немощеная улица-спускалась постепенно вниз и мы вышли явно на окраину. Никаких названий. Разбросанные домики с завалинками и занавесками на окнах. Хилые садики и огородики. Серая пыль. Но привольно! Ничто не теснит. — Лето. Солнце. Небо. Гулящее облако. Ничто не давит. Не угнетает.

В открытое маленькое окошко рядом с горшком герани смотрела женщина. Я подошел спросить.

— « Это улица не та, сказала она. И проулка тут нету. Вы лучше пройдите пустырем направо. Плетень есть не всюду. И там спросите. А дамочку тут оставьте. Ишь какая бледная! Она в тени посидит, а я ее кваском угощу ». И она сделала жест в сторону двора-садика. Там в углу под деревом за кустами сирени и шиповника был стол и скамейки.

Я подумал и согласился. Прошел пустырем и вышел на другую улицу. — Туда-сюда: никого не видно. Пошел наугад и совсем сбился. Вижу ниже, почти у реки, за прочным сплошным забором какая-то усадьба. Дом внутри.

« Надо все-равно спросить » (думаю).

Вхожу. Калитка за мной странно щелкнула. И уви-

дал, кроме того, что ручка-то у калитки снаружи была, а изнутри нет. Как будто оказался заперт.

Огромная усадьба! Тем не менее постройки: дом, длинный навес, сараи, — были скучены. Дом был бревенчатый с высоким козырем. Лестница и крытое крыльцо вели к главному входу.

Я оглянулся. — Слева, в самой усадьбе, был большой луг с легким наклоном к реке. Стояли стожки сена. Большущий темный бык пасся без всякой привязи, не трогая стогов. У него был такой вид, словно он скрывал не только страшную бычачью силу, но и что-то другое: примитивное и вечное. Две черных свиньи, сытых, лежали в тени навеса и притворялись спящими. — Все « настроение » усадьбы мне показалось странным, замкнутым и что-то таящим.

Я пошел к дому. Надо было пройти под навесом совсем близко от свиней, а так же мимо лошадей и коров. Когда я проходил первую свинью, она вдруг закрутилась с необыкновенной быстротой, волчком, иногда даже становясь в своем вращении на дыбки, обдавая меня пылью, хрюканьем, свиным духом и даже пеной. — Нормальная свинья так себя не ведет, — хрюкнет раз, показать, что она все же не спит: вот и все. В чем дело? После, другая свинья тоже стала кружиться. «Свиная ненормальность » мне стала очевидна. А ведь дальше надо было проходить мимо крупов лошадей. Что если они тоже начнут выкидывать штучки! Стыдно признаться, но немного струсил. Идти назад, — калитка защелкнулась и ручки не было.. А свиньи на меня с хитрицой посматривали.

Слева был луг и бык. Забор был высок, но для меня-гимнаста не представлял большой трудности. А вот бык? Я решил, скрываясь за стожками, перебежать сколько можно, а потом на открытом месте: во весь дух и через забор! Только я начал свой маневр, как бык явно меня заметил. Он перестроил весь свой корпус для атаки: подал его вперед и круто опустил голову-рога. Чувствовалась напряженная мощь тела и глаза налились кровью и накипающим непонятным гневом. Раздалось короткое, как далекий гром, грозное мычанье и потом замолкло. От тишины стало еще хуже. — « Ну, думаю, — пусть медведь пробует, а я не буду! » Повернулся и пошел к дому. Бык успокоился. Лошади и ко-

ровы ели и никаких хлыстовских кружений не устраивали.

Я поднялся на крыльцо и чуть стукнул, как дверь « как сама » отворилась. Словно меня ждали. Встретила женщина лет сорока, одетая по-старинному. Была очень приветлива и просила преде всего войти.

— « Входите, входите, пожалуйста. Я вас кваском угощу. Жарко-то как! »

На мой же вопрос: «Как найти приятеля?» Ответ был: «Это потом успеется!»

Вместо того, чтобы от кваса отказаться, я проявил слабоволие и вошел. Да и жарко было. Хозяйка разговаривала, меня рассматривала и оценивала... Это была властная женщина, что было видно и по глазам, и по выражению лица, по движению рук и головы.

Вошла девушка в платке и с поклоном подала на подносе квас. Глаза ее были опущены и ресницы бахромкой. Здоровый румянец и загар были подчеркнуты смущеньем. На лице застыла чуть-заметная улыбка, типично девичья, — что-то знает и не знает, что-то играет в ней, в вас, в мире. Мы — мужчины эту улыбку мало понимаем, хотя она нам и нравится.

Хозяйка сделала круглый жест рукой, словно со значением и девушка, как мне показалось, еще сильней покраснела и вышла. Я же сказал: «Хорошая девушка», — что было не очень тактично. Но хозяйка улыбнулась и с явным познаньем добавила: «Да. Это Дуняша».

Когда выпили квас, то хозяйка совсем неожиданно сказала:

— « Теперь я вам дом покажу! » (Властно так).

Я стал отказываться с неумелостью и слабоволием.

— « Что вы! Что вы! Сделайте милость! »

Зная старый русский обычай гостям показвать свое хозяйство и что это есть « честь » для гостя, — я согласился. Она, довольная, повела.

«Свиньи у вас какие-то странные и бык тоже », лепетнул я невпопад.

— « А!? » и улыбнулась.

Мы начали осмотр дома... Она открыла дверь, провела через коридорчик в комнату совсем отдельную, чистую, словно только что убранную, какую-то замкнутую и окно было высоко. Бросалась в глаза широкая и

низкая кровать, прижатая к углу и покрытая самодельным ковром.

— «Здесь будет спать Дуняша!» сказала она.

Я подошел и попробывал: мягко ли спать. — Даже странно с моей стороны и для самого неожиданно, — и сказал: «Довольно жестко!»

— « Так лучше! » был ответ.

Потом мы вышли из коридорчика и подошли к закрытым дверям, из-за которых слышалось пение.

— «Войдите!» сказала хозяйка. — Почти приказала.

Я вошел. Большая комната была наполнена одними женщинами. Все в платках. Ни одного мужчины не было видно. В руках свечи. Блеск их отражался на лицах и особенно в возбужденных глазах. Происходило какое-то моленье.

С моим появлением пение стало более властным, ритмичным, с каким-то рокотом. — И так, словно оно меня касалось. Оно стучалось в мою грудь, как волна о берег. И грудь моя открывалась. Наполнилась звуками. Стала жить в унисон песни. Затрепетала. Захватило. И стало мной владеть. — Мы-русские знаем власть песни.

Песня тоскут. — Мне стало грустно.

Она ς чем-то (кем-то) борется. — Я тоже хотел бороться. Помочь...

О как она торжественна! Радостна!

И радость охватила меня! Да! Да! я готов!

Стало жутковато. Я забыл себя. Хотелось жить в этой песне. Жить ее образами. Идти с ней, куда она звала... Как хорошо потерять себя!

Мурашки бегали во мне. Я стоял столбом, не двигаясь, смотря куда-то. И только раз заметил девичье лицо, которое взглянуло на меня с испугом и восторгом. « Наверно Дуняша! », — подумал я смутно.

Потом я был отодвинут к какому-то большому дубовому киоту или нише. Кто-то или что-то в ней были. Может быть безумный старик. Сверкнула зигзагом легкая синеватая молния и меня коснулась. Благословленье?

Тут мое « я » кончилось. Все повернулись ко мне. Пение стало громче. Темп быстрей. Все : радостней, торжественней! Я заулыбался блаженно-групо. И совсем потерял память...

Меня повели. И шел я как Иванушка-дурчек на свадьбе. В моей руке была другая рука: маленькая, сильная, с шершавой кожей. Я с ней слился. Повели и заперли... А дальше шли дни, как взмах белых крыльев большой птицы.

**

Очнулся у дороги пыльной с колеями. Сидел на обочине, как «непомнящий родства»... Узнал, — сказали, — что спортивное состязание давно кончилось. Прошло после две недели. Меня искали и не нашли и все уехали.

Во мне же осталось слабое воспоминанье чего-то сладостного и жаркого. Глаз карих. И горьких слез прощанья.

**

(Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

В ГОРОДЕ БЕЗ НАЗВАНИЯ

Как я очутился в этом городе, — и сам не знаю. Голова моя была пуста, память о прошлом в тумане. Даже настоящее я ощущал как некий сумбур. — То ли война и наступающий враг, то ли революция без жалости и закона, то ли пердчувствие второго пришествия обуяло людей. Они метались, не знали что делать, куда «податься». И хотя все кругом казалось временным, как и сама жизнь, но люди цеплялись за вещи и в то же время наивно продавали вещи за деньги, ценность которых была еще сомнительней. Я, правда, был пассивен и вещей не имел, во временность жизни твердо верил. И эта вера спасала меня от чрезмерного волнения и мыканья. — Все равно « оно » придет, — ударит колокол... Рано или поздно. И даже долгий звон, возможные долгие страдания не смущали меня выше меры.

Про этот город и его состояние можно было бы нарисовать картину «модерн». — С одной стороны «наливается» красная как кровь, черная как смерть, оранжевая как огонь, охватывающая его кольцом (опасность), и с другой убегая мечутся краски всех цветов в сумбуре полной палитры, в вихре зигзагов, лилового предчувствия смерти, серого пепла, темно-красного спешно-пожираемого мяса, людей и вещей, наклоненных колоколен, — символа падающей веры. И среди всего этого: маленькие огоньки любовных встреч.

Еды в городе было довольно... Так часто бывает при отступлении. Резали кур, гусей и уток, — все равно пропадут. Пили вино, — не разбивать же бутылки и бочки, — их ведь не увезти.

Итак: еда и жажда, — этот жестокий, жесточайший,

позорнейший примат не возвышал свой страшный голос. Но на его месте выступал номер второй — звонил без конца, кому мелодично и тихо, кому громко и примитивно, бухая и стуча в виски. Этим вторым приматом была любовь. Простая любовь. Теперь. Люди понимали примитивно. Ощущали. Желали, не думая что говорил здесь закон природы, имеющий глубокий смысл. И что бы там не твердили веры и религии, — природа свое: твое бессмертие в детях, и в них, возможно, ты будешь еще лучше, еще совершенней. Эта скрытая жажда бессмертия была даже трогательна. Правда, и животные и птицы и рыбы и растения стремились к тому же, — но что плохого в такой компании, — со всем миром Божиим.

Где моя любовь? говорили глаза, искали глаза. Человеческое все же сказалось: искалась моя любовь. Жажда была так велика, что многие, так называемые, формы приличия, все эти голубиные кур-кур-лыкания и надувания шеи с поклоном отпали, отлетели, как лепестки опыленного цветка.

Мужчины в большинстве случае вели себя очень упрощенно и искали свою любовь направо и налево. Но они ведь являлись лишь « орудіем производства ». А что было ценно у женщины, они, ничего не понимая и не думая, — руководствовалась инстинктом, который тоньше всякого ума.

Я не искал « направо-налево », но желание любви, как аромат одинокой розы в комнате, чуть слышный, нежный, постоянно присутствующий, как тоскливый зов, — был и во мне.

В этом городе без названия я сидел в кафе. День. Солнце. Носившеся в воздухе беспокойство принимал как фатум. Вдруг какая-то сила заставила меня обернуться — на меня пристально смотрела девушка остановившимися удивленными глазами. Как заколдованная. — Так видят суженого на святках в зеркале, — со страхом, удивлением и радостью. Я не мог ей не улыбнуться. И хотя она не была особенно красива, но все в ней показалось мне необыкновенно привлекательным. — Даже такие « вещи » « бессмысленные », как длинный голень, по девичьи угловатое колено, густые, взбитые мало-чесаные волосы, — все это имело какой-то

« смысл », красоту, значение. Я уже не говорю о глазах! Почему-то я решил, что она венгерка.

Я встал с жалостливой улыбкой. Встала тотчас и она. — И мы пошли друг другу навстречу, поздоровались как автоматы и сели рядом. Нашим рукам совершенно не терпелось. Нам хотелось их сжимать, друг друга трогать, гладить. — И мы ушли за дом в тень у дерева, где никого не было, и там уже быстро перешли к объятиям и поцелуям. Она казалась маленькой, скользящей, но крепкой. Мне было даже странно, что у нее было такое твердое и реальное тело и я никак не мог ухватить его как следует. Она же в своем скольжении словно искала во мне трещину, чтобы проникнуть совсем внутрь меня, или, искала тот разлом-разбив, чтобы приложившись своим разломом, слиться во единое, целое, как две половинки разбитой вазы. Потом она схватила меня за руку и говоря только: идем, идем! Потащила куда-то. Это «куда-то» оказалось там, где она жила. Мы поднялись на второй этаж и очутились в огромной комнате, заставленной, заваленной, полный бедлам. Были и люди. По пути к ней подошла женщина, смуглая, растрепанная, — видимо мать, которая стала ей выговаривать, — как она смела придти с незнакомым мужчиной! Кем она стала!? Я даже подумал, что уж ни женщина ли она легкого поведения. О, нет. Это было неверно! Я скоро узнал! Как я смел подумать!!!

Потом я вышел из какого-то темного угла, а она осталась. Я был в чулках, — башмаки потерял. Я сел сначала на диван, в этой большой комнате, где были и люди и вещи в беспорядке, — в надежде, что она выйдет и заодно принесет башмаки. Хорошо еще, что чулки мои были черные, — мало заметно. А потом вышел на улицу и сел на лавочку против дома... Я ушел, не связав себя обещанием, где и как встретиться. — Она ничего не понимала, словно от нее ничего не осталось. А я бормоча: « когда, где увидимся », получал в ответ лишь слабые стоны. Поцеловал полутеплую, без движения. Поискал башмаки и ушел. Думал, отойдет и выйдет. — Дать ей остаться одной, придти в себя.

Мимо проходили... Прошли люди. Прошли города, страны, года, несчастья, мелкие радости, — а я все сидел, сижу и жду. — Седой.

(Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЧЕПУРИН

(Новогодний рассказ)

Проснувшись утром, Владимир Иванович прислушивается: в кухне ли жена, или уже ушла на базар. — Удастся ли ему сделать так, — будто бы случайно, нечаянно, незаметно, — сделать так, чтобы она постелила кровать. Она это делает необыкновенно быстро и с легкостью, тогда как для него это целая история! Придется раздумывать: что сначала, что потом. Надо ли снимать нижнюю простыню и встряхивать, или можно огладить, как сытую лошадь. Кроме того у покрывала трудно-различимая изнанка и покрывало имеет тенденцию лечь неуклюже, неровно; верхняя простыня норовит выглянуть и приходится ее запихивать; подушкам, которые кладутся сверху, надо придать по возможности « эстетическую комбинацию ». — Комбинация из четырех, но в трех измерениях!

Кое-как умывшись (потом домоюсь!) он скользит в кухню и рассаживается. Если жена уже надела пальто, то его дело табак! Если нет, то дело в шляпе!

Обычно человек живет в миру, а у Владимира Ивановича: мир живет в нем. — В этом вся и сложность! Прошедше, настоящее, будущее... Люди, события, природа... Возможное, невозможное, мифы... И сам он-часть своего мира. Переживает. Страдает. Радуется.

Идет по улице. — И всякие там люди, мимо проходящие, всякие там булочные и мясные, — ему ни по чем. Его путаный огромный мир движется с ним, а другого ничего он не замечает. Часто он с кем-то там разговаривает, а французы косятся, сторонятся, озираются, — думают, что ненормальный...

- « Что же это вы, Владимир Иванович, мимо проходите и не здороваетесь!? »
- « Ах, Ольга Николаевна! Простите пожалуйста! Такой рассеянный!... О вас думал... » (Покривил душой).
- « Обо мне? это интересно! Что же вы думали? Почему вы к нам не заходите?
- « Зайду! Зайду! » а сам скорей бежать! И мир за ним, как метелица.

На улице Вожирар чувствует, что кто-то на него в упор смтрит. — Оказывается: поэтесса Ш. своими черными глазами и брови от удивления подняла. — Совсем де около идет и ноль внимания! С ней поэт и иог Т. — невозмутимо и важно. Чепурин заулыбался, заизвинялся, поговорил о литературе и ушел. — Мир с ним.

(У Чепурина есть занятия в принятом смысле слова, — для добывания денег, но они проходят мимо его души. — Он там притворяется).

Часов в пять Владимир Иванович пьет чай. Один. В кухне. И можно наблюдать, например, — вдруг он обращается к печке: « Мадам! Заметили ли вы какая на мне рубашка? »

Ответа не следовало. Молчанье.

Тогда он нараспев: « А рубашка на мне голубая! В маленькую клеточку! Едва заметную! »...

Ужинать Владимир Иванович приходит в кухню. Один. Вместо жены, на столе, холодная рыба и простокваша. Хотя жена и исчезла, но она продолжает заботиться.

После ужина Владимир Иванович немножко отдыхает и думает. — Думанье — это его постоянное занятие, часто связанное с чувствованьем, с переходом во второй мир. Бывает так, что он устает от этого чрезвычайно!...

Итак вечером. — Может быть книга или газета. А то ищет музыку или ставить пластинку. И тут бывают просто чудеса! — Господин пожилой и солидный, про него один француз сказал, что он мудрец, подобного которому никогда раньше не встречал, — вдруг этот мудрец с небольшим животиком начинает балетно танцевать. — Па самые невероятные! Он тянет ногу и носок, как-то на нее в пол-ритма припадает, носится, вздымает вврех руки, покачивается корпусом, бросается вперед с горящими глазами... То вдруг останавливается и

радостно пляшет на месте! — То ли это явление атавизма: воинственный танец, бой, и прославление победы. То ли дело происходит в неком царстве, неком государстве, где серый волк и Аленушка и Иванушка — дурачек — и пляс на его свадьбе. — То ли что-либо третье, ...— Ему одному известно.

Вы заметили, вероятно, что Владимир Иванович часто остается один. — Жена куда-то исчезает. — Работа ли. Забота ли. Или еще что. А без женщины мужчине трудно. От «живых женщин» Чепурин как бы бежит. Даже от прекрасных поэтесс. Но у него в запасе есть целый ряд мифических женщин. У каждой — своя жизнь. — В этом сила творческой фантазии Чепурина: рожденная в мифотворчестве, она продолжает жить самостоятельно, «как живая». Творчество это часто происходит помимо воли, непроизвольно. — Желание, опасение или мечта могут дать творческую вспышку, могут породить даже урода или однобокость...

Приходит женщина в розовом. Он ее радостно целует в передней. А она говорит: «Не лижись!» Потом деловито раздевается и приказывает: «Почеши мне спину!» Он падает с неба и чешет спину. — Кожа на спине толстая.

— « Довольно! Ты не умеешь чесать! »

Потом она еще говорит: «У тебя живот». И «Ты вспотел». — Это весь ее любовный разговор.

После он суетится, чтобы напоить ее чаем и чем-нибудь угостить. Ее же интерес к нему окончательно пропадает. Она быстро пьет чай и доедает варенье. В передней он просит, « скажи хоть « милый». — Она трясет головой и уходит. Оставшись один, Владимир Иванович смотрит на свой живот. — Есть. Пробует его втянуть — Можно. Долго удержать трудно, но живот невелик.

— Бедный и наивный Владимир Иванович! Дело тут не в животе! а в том, что народилось «любовное чуловище»!

Женщина в сером приходит раз в месяц... и устраивает сцену! — Любой предлог подходит! Глаза у нее маленькие и злые! Чепурин не знает, куда деваться. Обычно, после, он становится больным. Даже обращался к специалисту. Ответ был: стараться не волноваться и пропускать мимо ушей. Сидеть в кресле и покачивать головой. Ничего не отвечать. Женщина в голубом — самая милая! Она приходит без стука, без звонка. Но редко и как бы издалека. Шея высокая и изгибом. Глаза, как васильки, смотрят жалостливо и с любовью. С подлинной любовью. Во всем облике что-то девичье. Они сидят обнявшись на диване и почти молчат. — Хотят упиться друг другом. Или вдруг начинают напевать песню, то грустную (общая жизнь их не удалась), то любовную (любовь осталась). Можно слышать: «Маруся любит... Ванюша любит — всей душой! » Маруся и Ванюша, — это они. Владимир Иванович Чепурин надеется, что в будущей жизни они соединятся окончательно.

Граница между миром реальным и нереальным у Чепурина стерта. Часто маленькое событие заводит его в какую то кось, где он продолжает жить, чувствовать и страдать или, что реже, — радоваться.

Одна его знакомая барышня вышля замуж за французского испанца. — **И пошло!** — У испанца была сестра. Они втроем решили провести лето в Испании. Встретили Владимира Ивановича... Пригласили его поехать с ними: «Мы там сняли заброшенную мельницу. Глушь. Дичь. Красиво. Очень дешево. Для вас есть место... У нас старый автомобиль.. »

Владимир Иванович согласился. Ничего не расспрашивал. — так на него похоже. — И что же вышло!? — Глушь, дичь, красиво, дешево, — правда. Но оказывается, что они сами столовались! А у Владимира Ивановича ничего с собой не было: ни спиртовки, ни продуктов. В первый день он даже лег без ужина, а потом они заметили и приглашали к себе. — Но это не то. — Он не хотел быть в тягость. Кроме того, молодожены предпочитали уединяться, а ему оставалась сестра испанца-Елизавета. У нее никакой изюменки. Лицо круглое (неожиданно для испанки) и кожа жирная. Никакой поэзии. Даже фальшивой поэзии, игры, изощрения мысли, витиеватости чувства. — Как рассказывал както проф. Давыдов, что, когда был молодым, стал он пощипивать горничную-простую молодую деревенскую девку, а та ему: «Хочешь щапать? — Жанись! » — Коротко и ясно. — Так и тут. — Хочешь шипать, — женись! Середины нет.

Решил Владимир Иванович завести собственное

хозяйство и отправился в село, чтобы купить. Думал, с французским языком — справлюсь!

Что получилось!? — Никогда еще он такого селения не видывал! Старое. Старинное. Построенное на застывшей лаве потухшего вулкана. Тысячи лет. Все темно-серое. Дома из лавы. Дорога из лавы. Срез земли из лавы. И люди ходят — прямо из лавы. Серо-смуглые. Худые. Глаза же черные-блестят, — еще не потухли. Мужчин не видно. Женщины в черном скользят мимо — не смотрят. И что поразило: у многих детей на выпученных черных глазах огромные бельма! — «Гоя! Гоя!» стал думать Владимир Иванович...

К кому ни обратится, — ничего не понимают! — «Лавка« Лавка! Магазин! » — скользят мимо. Наконец одна с ведрами и детьми. Как будто кивает, но молчит. — Он за ней. А она к колодцу. Колодец выдолбен глубоко в лаве подвалом со ступеньками. — Темно-серое из лавы. — Она туда с ведрами. Он тоже. И дети тоже. Набилось просто странно, неудобно и тесно. А у детей на больших черных глазах белые бельма! Даже жутко!

Она воду тянет, молчит и не гонит. Дети жмутся. Тесно. — Вылез!

Видит, идет женщина плохо-одетая, босиком и простоволосая, но блондинка! Он за ней! Она от него! — Догнал. — « Извините, говорит, сударыня, очень извините за безпокойство! (Видит он, что окончательно заблудился, только бы домой!) — Где говорит дорога на старую мельницу?... Рут вье мулен?» Она же стала такое нести, — язык как будто смесь испанского с немецким или голландским. — Несет, — явно ненормальная!... Идет рядом и жизнь свою рассказывает со слезами! Кто-то кого-то убил! Кто-то кого-то изнасиловал! — Большие глаза в слезах на него! Горько плачет! Жалко ее очень! А что делать? — Погладил ее по голове и говорит: «Бог! Дье! Гот! Деос!» — Она вдруг... у него руку поцеловала!!! Сердце у Владимира Ивановича так и упало! — « Боже! Боже! До чего есть люди несчастные!!! » Стал пятиться, головой кивать, с грустью на нее смотря, глазами, как мог, сочувствуя.

Дорогу на старую мельницу, поблуждав, сам нашел, по горам ориентируясь. — Вот в какую « кось » вышло! А на земле, в реальном мире, было лишь : знакомая барышня вышла замуж за французского испанца.

Владимир Иванович решил, что встречать Новый Год будет **один.** — Жена исчезает. — Мог бы « пригласиться », но не хотел напрашиваться.

Купил шведской селедки, хорошей ветчины, шеколаду, цветов. Было немного водки и портвейна. Поставил зеркало. — На него смотрело лицо со скорбными глазами. «Не унывай! сказал. — Все равно умирать! » и улыбнулся. — Лицо тоже улыбнулось. — Он даже обрадовался. — Кто-то ему улыбается!

Завел будильник. В двенадцать зазвонил. —

— С Новым Годом! — Чекнулся с зеркалом, выпил рюмку и закусил. Налил вторую.

— «За Почеши-спину!» Выпил и закусил...

Пошел в кухню заварить чай. — В передней... На комоде. Поджав ноги по турецки ...Сидел другой Владимир Иванович! — Точь-в-точь! И смотрел на него из полу-тьмы острыми наблюдающими глазами. Наш Владимир Иванович сделал вид, что не замечает. В кухне подождал, будто: пока заварится. Налил чашку. А в передней быстренько прошмыгнул...

Наступил Новый Год.



Париж. Декабрь 1964. (Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

ПРИГЛАСИЛИ ПРОВЕСТИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ДЕРЕВНЕ

(Рассказ)

Отпуск кончился. Стоял прекрасный сентябрь. Природу я люблю. Дама — пригласившая симпатична. — «В субботу уедете, так как приедут «наши» и не будет места. А то : будут только Бабушка и я »...

С радостью согласился. Условился, — когда и как. Для меня поездка-целая история. Боюсь сесть не на тот автокар. Вылезти не там, где надо. Сажусь поближе к шоферу и прошу предупредить, где слезать. Говорю с ним почти заискивающе, а он что-то буркает в ответ. Готов ему дать на чай, — но неудобно как-то.

Приезжаю. Вылезаю. **Никто не встречает!** А с дамой-хозяйкой я в прекрасных отношениях. — Могла бы встретить. В особенности зная мой характер, — заблудиться мне ничего не стоит и я очень безпомощен.

Скучная длинная серая сельская улица. Куда идти? Кое-как вспоминаю указания. А спросить некого. Людей не видно. К счастью запомнил номер дома: 14. Дача оказалась домом на краю села. Вход через ворота, а калитки нету. — Вхожу. Встречает... кот! Ласкается. Он меня видимо помнит. Один раз в Париже сел ко мне сзади на плечи и облизал затылок! Зовут его « Мурка ». Погладил кота и он был очень доволен. Я — тоже (без « очень »).

Наконец случайно появляется хозяйка. Смотрит на меня и говорит : « Ах, это вы? » Безразличным голосом.

- « Да, я! А что же вы меня не встретили? »
- « А почему же я вас должна встречать? »

Тон даже с вызовом. Что можно ответить?, — « как

гостя? Как хорошего знакомого? Как пожилого человека?... Лучше ничего не отвечать. — Вот так « симпатичназ дама! »

— « Может быть хотите чаю? » (Почти-что: « Еще чего доброго, — хотите чаю!?)

Чаю я конечно хотел, но предпочел отказаться.

Вхожу в кухню и вижу Бабушку. Здороваюсь. Целую ручку.

— «Хотите чаю? Наверно устали с дороги! Можно утрешнего-еще хороший, или заварить? » — Сказано приветливо.

Я хотел свежего, — туляк-я и любитель чаю. И сам думаю, — дом, видимо, скуповат. И говорю громко. «Конечно можно утрешнего!»

Сел пить чай. Входит хозяйка — Марья Ивановна. (Ну, думаю, — попался. А сам виду не подаю, хоть встречей и запуган).

- « Что же это вы? Мне сказали, что чаю не хотите, а сами пьете? ». Не могу же я ответить, что на этот раз предложено было вежливо и приветливо потому и пью... Отделываюсь шуткой. «При виде Бабушки чаю захотел... Садитесь тоже. Выпейте ».
- « Мама, налей и мне! »... (Тоном авторитетным) Смотрит на меня глазами серыми с зеленцой. Рассматривает насквозь. И нет в этих глазах и капельки доброты. Деловитость. Ум. Себе на уме. А в зелени глаз, чертовщина низшего порядка. От ведьм. От Гоголя. От Салохи. Нет веры в добро! В силу добра. В победу добра. К таким-то дьявол и подлезает. Путь открыт.

Пока я так рассуждаю — в душе, конечно, Бабушка спрашивает.

- « Вы суп любите? »
- « Люблю, говорю. И дома мне не дают».
- « Так я вам буду суп готовить.
- « Спасибо, очень буду рад ».

Хозяйка быстро чашку чая выпила, поднялась и говорит: «В сад пойдете... Малину— третий урожай мы на варенье держим... И у Коли (мужа) все груши на счету... ».

Я в душе тихо свистнул. — Ни груш, ни малины есть нельзя! Так-с!

А Бабушка ко мне подсела. «Вы моих внуков знаете? » спрашивает.

- «Знаю».
- «У старшей дочери сын-красавец и на четырех языках говорит. Девочки так и льнут, а у Марьи Ивановны (Это она хозяйку мне по имени и отчеству) дочь и красива, и умна, и на все руки. Платье сшить из ничего! Кроит без патрона!...

Я соглашаюсь. Эта « младшая дочь » мне самому нравится...

Потом приносит в стаканчике из под горчицы цветок дикой гвоздики. —

— « Смотрите, как прекрасно мир устроен! »....

Комната моя находилась между комнатой Бабушки и комнатой хозяйки и окно закрывалось тяжелой громыхайщей ставней. И залег я в нее, как медведь в берлогу. Много раньше, чем в Париже. Почитал. Потушил свет. Пометался по кровати и заснул.

Но даже медведь вылезает из берлоги. Понадобилось и мне. Суп что ли виноват. Было половина восьмого утра — для деревни не-рано. Сначала хотел пройти через комнату Бабушки. — Думаю. — уже встала. Тихо приоткрываю дверь и смотрю в щелку. — Бабушка сидит перед зеркалом и причесывается. Степенно так. Значит пройти нельзя, — причесывание женских волос-табу, посторонним мужчинам смотреть нельзя! Только мужу. — А я не муж Бабушки. Бабушке 87 лет. Тихо приоткрываю другую дверь. Вижу широченную кровать, как поле! И на ней — под одеялом-маленький комочек! спит. « Проскользну » — думаю. В одних чулках, накрывшись почему-то халатом с головой (а ля страус) — скольжу. И чувствую, что-то жжет мне в спину. Оглядываюсь. — Через едва-заметные щелочки глаз Марья Ивановна на меня смотрит! Я тряхнул сзади халатом и скрылся во двор. На обратном пути — Бабушка уже встала — прошел через ее комнату. Оделся и решил как-нибудь загладить свою оплошность. Быстро пошел в булочную, купил круасанов. Пошел в мясную, купил эскалопов. (900 фр!).

Пьем чай. Сначала — ничего. Но, когда круасаны были съеданы, зелень в глазах Марьи Ивановны разъигралась и она как стала меня отчитывать! что я про-

хожу через ее комнату! бужу ее! и что она из-за меня недоспала целый час! И то и се!

Я слушаю. Голову опустил. Молчу и думаю: «Не житье мне здесь! И как это: в Париже — дама симпатичная, приветливая, а здесь, как дьяволица! Грызет ни-по-чем! Салоха-та хоть со своими поклонниками разговор вела и в мешок они сами лезли...

Кончил чай и пошел в сад на лоно природы. « Лона » тут немного. Но-все же. Пересчитал груши: 19. — Трогать нельзя. Малинник слева, — есть нельзя — на варенье. Падалицу яблок попробывал, — жислая и червивая. Остались огурцы. — Люблю! Выбрал с осторожностью, чтоб незаметно, штук шесть и съел. Без соли! Прихожу в дом, а Марья Ивановна меня спрашивает: «Вы, кажется, огурцы любите! » У меня дух захватило! Неужели, думаю, — насквозь видит? Даже в желудке! — Не житье мне здесь! Завтра, думаю, — уеду. Сразу бы мог, но вежливость помешала. — Как же так, — приехал на четыре дня, а на другой день уезжает. А то все-таки — на третий. Предлог придумаю.

Стал в уме подсчитывать, сколько бы я смог съесть огурцов за четыре дня. Если есть по два раза по шесть штук в день. — Выходит: сорок восемь огурцов. Не так уж много. И огурцы, к счастью, подростают, увеличиваются в объеме и если есть с осторожностью, выбирать умело, — не так заметно. — Не забывать соли брать с собой! — Кроме того: « огурец любит быть съеденым ». Надо уважать не только человека, но и животное, но и растение!

И, на всякий случай, — подсчитал: если бы я съедал по три груши в день, — всего 12, — осталось бы 7. Маловато. Съедать по две, — всего 8, осталось бы 11. — Неплохо!

Стал организовывать свою жизнь на ночь. Решил, — если суп будет действовать, то вылезать через окно, котя это боле чем странно. — Надо добавить, что на тот же двор выходил другой дом. Дом столяра, женатого и трое детей, и жена — вот-вот — ждала четвертого. Люди рабочие. Встают рано. Представьте картину. — Рано утром из окна вылезает почтенный господин с сильной проседью в халате, голые ноги, халат распахивается, видна ночная рубашка! — Жена столяра, чего доброго, родить может! Преждевременно... И я еще не ре-

шил: вылезать ли мне задом или передом. — Вот до чего довела меня Марья Ивановна!

Ставни на запорку я не стал закрывать, чтоб не шуметь, когда буду их открывать. Щелка между створками осталась...

Лег. Пометался по кровати и кое-как засунл сном безпокойным с просыпаньем... Вдруг вижу в эту самую щелку влетает ко мне Марья Ивановна!!! Делает круг по комнате и вылетает обратно. Я оставил свое бренное тело на кровати и пустился за ней. Мы прилетели в лес на болото и я сел на дерево, чтоб смотреть, что будет дальше. Из-за деревьев и из самого болота стали выходить ведьмы. Все они имели человеческий образ и некотороые были даже привлекательны. Из болота вылезали голыми, а остальные быстро разделись донага. Одежда им мешала проявить свое « я ». — (Одна дама, помню, мне сказала : « Как вышью, так мне хочется раздеться до-гола »).

Ведьмы образовали хоровод. Сначала в медленном темпе, потом все быстрее начался странный танец. За руки они не держались. Каждая проявляла свою индивидуальность. свое неудовлетворенное желание. И теперь, — образом, воображением, экстазом, — хотели высказать или получить они то, что не давала, — не дала — им жизнь. Их глаза горели. Ничто их не сдерживало. И они давали себе полную волю, могущество. Одна, руки раскидав, шла грудью вперед, готовая обнять. Другая, согнувшись, с хитрецой крутила — довольно привлекательным задом, — что это означало на ее языке, — мне было непонятно. Третья вздымала руки, грозила и проклинала! Кто-то крутился волчком. Все это, конечно, освещала полная луна.

Была немая, внутренняя музыка, для ритма, для пляса. А так: друг друга они не слушали, а гармония странная, страшная, какофоническая, — существовала. Стояли вопли и угрозы, дикая песнь, улюлюканье, жалобы, смех, рычанья от страсти...

(Помню в гостях, — до войны, — и я был моложе, за чаем светская дама спросила другую светскую даму: «А где Лина (дочь)? Как она? » — «Сегодня ее нет. И, понизив голос, рычит ночью »...

Меня считали за человека хорошего, но наивного.

И я продолжал пить чай. Невозмутимо... Приглашали приходить почаще...)

Вернемся к шабашу.

Я сидел на дереве ни жив ни мертв. Я понимал, что видеть это я не имел права! Я узнал их тайны! — Какая же женщина без тайны!? И думал: упаду от эмоции, — разорвут на части! Каждая на мне докажет свое! — Что от меня останется? — Кое-как снялся и полетел назад.

После этого ночного происшествия мое решение уехать домой только усилилось. Утром уложил две простыни, наволочку (сказано было их привести), ночную рубашку и зубную щетку. — Это все. — Хочу поднять чемодан и не могу! Не могу и не могу!... Пришлось остаться.

Решил подкрепиться огурцами. Захватил соли. Вспомнил, не знаю почему, про одного естественника, который на острове Борнео наблюдал оранг-утанга. — Оранг-утанг слез с дерева, пошел на поляну и стал есть дикий лук. — Ел три часа. Потом напился из ручья и снова на дерево... Хорошо! Вот это жизнь. Я же съел один огурец, посолив предварительно солью. — Насладился. Съел второй. Тянусь за третьим и силы вдруг меня покинули: сорвать не могу! Не могу и не могу! Вот так оказия! Издали наколдовала!

Побежал в булочную за круасанами. И тут опять случилась неприятность. — Я покупал два круасана на человека (« не густо », конечно!) Так что же вы думаете, — за столом съел третий бабушкин! Тут мог! На лице Бабушки не отразилось ничего! Я же до сих пор забыть не могу! Вспоминаю, как руку тянул. Как в рот клал. Бабушкин круасан. Доброй Бабушки, что мне суп варила! Навожденье!

В субботу приехал муж. Машина большая, красивая и рот растаращила. Правит важно. И вся набита родственниками! В окошко смотрят, улыбаются.

Вечером, тяжело вздохнув, я уехал.

Когда прощался, говорю Марье Ивановне: «Вы что-то были неприветливы!» А она мне в ответ: «Но вы, тем не менее, чувствовали себя неплохо!» Какое непонимание человечской души«... Не мог же я ей всю правду высказать!... Промолчал.

Приехал в Париж. Прямо с поезда — играть в

бридж! Возвращаюсь домой около часу ночи. На дверях квартиры записка от сына: «Переменил тебе замок. Ключ у консъержки. Миша».

Ну, думаю, — навожденье не кончилось. Чем-то я, видимо, провинился, если оно имеет силу. Посидел с минуту на лестнице. Подумал. Пошел к консъержке. — Другого выхода нет!

Стучу. Стучу. Наконец слышу недовольный, противный, сонный, сиплый голос. — « Qu'est-ce que c'est? »

Жалобным голосом говорю: «Мадам, ключ пожалуйста дайте! Я только что приехал!» Называю фамилию. Слыппу ворчанье. Открывается на щелочку дверь — вижу консъержку — чистая ведьма! — Протягивается в щелочку ключ, а я в щелочку 5.00 франков.

После в Париже пошел навестить Марью Ивановну. Открывает она сама. Здоровается. Приветлива. Симпатична. Глаза блестят умом и дружелюбим. Спрашивает: « Как поживаете? ».

Чем все это объяснить?.

**

Париж. Ноябрь 1967. (Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

ХЛЕБ

Мне было вероятно лет тридцать. Достиг полного расцвета сил, был зрел умом и жизненным опытом. Я заведывал общежитием, помещавшимся в верхнем этаже дома. — Это была очень большая комната и в ней с двух сторон ряд железных кроватей. Около кровати: стол-шкафчик, стул и у кого — сундучек. Жильцы мои не были бродягами, — они были бедны, или небогаты или одиноки.

Заведывание общежитием требует забот: чистота, порядок, утром и вечером кипяток, мир между жильцами... Вы являетесь иногда невольно и судьей. Да и плату надо собирать (какую плату?).

Любили вас, не любили, уважали, не уважали, — ничего неизвестно. Я носился там оторванный от всех и даже от мира... Но, я думаю, они видели мое стремление к честности и справедливости. Одет я был небрежно, и невольно внутренно считал, что это не мое место, и что все : временно, а придет настоящее, — надо только выждать. Что настоящее? — Не предвидел. Если разобраться, — душа моя была наивна, и я способен был ждать чуда.

Все мы в общежитии были на-виду, но каждый сам по себе, — как в жизни. Каждый был особняком и мало общался друг с другом, даже трудно было определить к какому классу кто принадлежал. Все внешне скромно, пристойно. А вот, например, тот человек с бородкой с голубой проседью, — он смотрит на меня умными глазами и, кажется, видит насквозь, даже будуще мое знает. Может быть он мудрец, новый Будда? А другой, русый, с холеным лицом, спрятавшийся сюда богач? Мо-

жет быть он просто не хотел быть богатым и ушел, « раздал свое имение бедным? » Может быть это были представители малых стран, а нижние этажи для великих держав? Но даже странно, про нижние этажи я совершенон ничего не знал, и подниматься в мой верхний этаж надо было по внешней лестнице.

Утром мои жильцы, обычно попив чай, уходили. Куда? На работу? К своим женам? К детям? — И вечером возвращались. Если возвращались от своих жен, значит предпочитали одиночество. В общей зале прекрасно можно быть одиноким. — Но все же значит, что их семейная жизнь была неудачна, так как сон вместе и само приготовление ко сну, — объединяет ,обваликивает в единство. Сон ведь прообраз смерти. — Желание умереть одному показывает на очень большое внутренне одиночество.

У меня была своя квартирка. Отдельно. Внизу. Две комнаты. Холост был. Мебели мало. Необходимая. Чистотой не блестела.

Однажды. Утром. Я уже был в общежитии на своей работе. Но вернулся за чем-то нужным и спешным к себе. И как раз вижу, приходит девушка. Молодая. Может быть лет семнадцати-восемнадцати. — Да это не важно. Важно только, что вполне сформирована и готова для жизни, хотя похоже, жизни еще не начинала. Одета бедновато, но чисто. Платье в крупных цветах. Лето. Фигура хорошо видна. Даже, казалось, душа просвечивала. Она была смугла, волосы имела темные, глаза темно-карие. Роста небольшого. Ладна очень. Я подумал, глядя на нее, так, между прочим, что она все же не в моем вкусе: мала ростом, молода, да и слишком « черна» показалась. Молодость ее была, как только-что созревший и только-что очищенный, отделенный от шкурки, грецкий орех. Шел еще от такого ореха дух дерева: ароматный, терпкий, йодистый. В руки возьмешь, влажность чувствуется. А в складках — легкая маслянистость поблескивает. — Хорошо пахнет такой орех! А на вкус: горчит, и мякоть еще упружит, не тверда. И пленочку легко отделить от белого тельца.

Я спрашиваю девушки: «Что вы желаете?» А она мне спокойно: пришла предложить себя». Попросту так и сказала. И смотрит, что отвечу. — Я был удивлен. Поражен. И сразу понял это в определенном смысле. Овладев собой странно-быстро, без всякой «философии», перейдя как бы в плоскость упрощенности, — я окинул ее критическим взглядом. Она стояла легко по летнему одетая, в своем ситцевом с цветами платьце и смотрела на меня молодыми карими глазами. В них: ни вожделения, ни тени испорченности. Они спокойно ждали ответа. Но вы согласитесь со мной, что за спокойными глазами может быть бездна предварительных чувств и предварительных мыслей. Я помню раз со мной был такой случай. — Дело было на фронте в Первую Великую Войну. Мы были в дивизионном резерве. Командир полка созвал всех офицеров, попросил их построиться и вызвал желающих... идти на смерть. Я сделал два шага вперед и стал вытянувшись и спокойно на него смотрел своими, тоже карими глазами. Никто другой не вышел.

Здесь был случай с девушкой. Что делалось за ее глазами, в ее душе? Как она к этому пришла? Почему?

Дальше мое поведение было импульсивно, бесконтрольно. — Я левой рукой приблизил ее к себе в полооборота, а правой коснулся — тронул ее за грудь, слегка приподнимая ласкающим движением снизу вверх. Грудь дрогнула (о, была прекрасна!). И этот мой жест был оценкой качества, данью восторга, похвалой красоте. И девушка мне стала желанна. Она заметила и довольно примитивно, жестом, дала мне это понять (я ее. между прочим, быстро от себя отпустил). Жест же ее, помню, меня смутил: неужели «опытность »? Или наивнейшая простота, как у ребенка, у которого нет никакой задней мысли, а все — правда. Все — наружу. Словно я был близко — свой. Своя желанность ей была приятна, она ее радовала. Она улыбалась и глаза у самой от собственного желания загорелись. замерцали, как зрелые темные вищни на солнце. И было в них также удовлетворение, словно то, что раньше она решала и решила, — теперь оправдалось.

— «Сколько же ты возьмешь — спросил я напрямик, и ожидал довольно большую сумму. Но я сам даже не решил, соглашаться или нет. Что мне часто « мешает », это жалость к людям, даже тогда, когда они сами себя не жалеют. Да и было во мне наличие некой «сложности». — Не так уж все просто.

На мой вопрос — « Сколько возьмешь? » Она ответила.

- «За хлеб».

Она стояла рядом близко (как отпустил, отошла может быть на пол шага) и смотрела на меня снизу вверх с крайней доверчивостью.

- «Как за хлеб» перепросил я.
- «За хлеб» повторила она и улыбнулась.

Мне стало неловко ее расспрашивать. Что-то в этом слове «хлеб» таилось. Большое. Как символ. Как образ. Надо понять, подумать. И я сказал ей, указывая на табурет: «Посиди здесь (невольно на ты). Я очень спешу. Есть дело. Скоро вернусь и мы решим».

Она спокойно, безмятежно села. Словно в основном вопрос был решен, остались только подробности. Я же ей жалостливо улыбнулся: жалость была отчасти и к себе самому, — перед неожиданной трудностью, перед растущей в своем значении загадкой, — но и к ней, со вспыхнувшей вместе с тем симпатией, — к этой странной девушке, пришедшей словно из другого мира, мира наивной простоты и доверчивости — разве можно такую обмануть?! О, как рожденный поэтический образ может таить в себе необыкновенную глубину! Я был выбит из колеи одним словом, одним образом. Быстро шел и думал : откуда она пришла? Где она меня видела? Как знала? Чувствовал, что знала и выбрала... Она из другого мира, — мира правды, простой правды. И была у меня всегда мечта, что настанет век правды, век простоты. Но без всякой грубости, без насилия, а с добротой. — Вы входите в кондитерскую и говорите: — мне очень хочется съесть пирожное, а у меня нет денег »... Хозяева, муж и жена, переглядываются и скажут друг другу глазами: «все равно, одно-два засохнут», и дадут молча. Вы скажете короткое: — « спасибо! » и уйдете, чтобы съесть где-нибудь на лавочке. Никакого унижения. Неловкость скорей у имущих.

Я шел и думал: «принять ее как самое большое. Без расспросов и уточнений. И, если не ошибусь, — какая в этом прелесть — в бессловесном великом понимании. Придти к ней, — она встанет навстречу с табурета, — и сказать: « хорошо! Я беру тебя за Хлеб! а ты берешь меня за твою Ласку, вкладывая в это слово самое боль-

шое. Ведь она пришла из другого мира. Ее мир надо сберечь. И моя мечта о правде, — хотя бы правде в двух комнатах, сбудется.

**

Париж. Февраль 1958. (Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

потенциальная ведьма

(Рассказ)

Обуров, Георгий Евгеньевич, приехал в отпуск в Нормандию. — Вырвался наконец из Парижа на свободу! Вырвался наконец, чтобы быть одним!

Домик его стоял особняком. Утром встав, он обходил в саду розы. Нюхал. Качал головой. Улыбался... Одну срывал! При этом он вздыхал: мучала совесть. — Уж не воровство ли это?

В то же время, отодвинув слегка занавестку, из окошка кухни за ним следила Варвара Степанокна-хозяйка пансиона. Она-то считала, что это воровсство! В глазах ее не было ни капельки жалости, ни капельки понимания, ни капельки доброты. Изнутри этих глаз, когда за ней никто не наблюдал, светилось какое-то органическое недружелюбие к миру и безжалостность. — Проезжему автомобилисту воды не даст! ...Сама своих ласковых козлят резела и шкуру, еще теплую, с них сдирала!

Сказать Обурову: « Не воруй » — она не решалась. — Роз было очень много. Он же был пансионером платным и мало понятным. — А вдруг... И кроме того она считала себя женщиной интеллигентной, — на дантистку училась! — Как же устраивать историю из-за розы!

Обуров тем временем уносил розу в свою комнату, как тайную возлюбленную. Обрезав ноготки на ногах, он ставил ее в воду. Нюхал и еще раз улыбался.

Потом он подходил к кухне и туда заглядывал. — Не готово ли кофе? Хотя Варвара, как ее звали в просторечьи, стояла спиной, но она все видила. — « Идите!

Идите! Нечего засматривать! Вы-первый!» Она говорила, резко, вспоминая украденную розу.

Подавала чашку кофе и начинала сплетничать. Сплетня наростала, наростала и роза забывалась. Обуров слушал с задумчивостью и ничего не отвечал. Движенья его были плавны: как он брал сахар, клеб, как намазывал масло, даже, как наклонял голову и двигал бровями... Варвара принимала молчанье за согласие и за сочувствие, а плавность движений за аккомпонимент и пускалась еще пуще! — Ему предлагалась вторая чашка кофе и даже третья! Обуров от третьей отказывался. Благодарил и, с мужской неуклюжей грацией откланявшись, — уходил. — « Десять процентов женщин, думал он, наслушавшись злостных сплетен, являются потенциальными ведьмами»...

Он шел подальше в лес. Там была его свобода! Там была его воля! Там были его настоящие друзья! Сначала, — это высокая седоватая кедровая ель. — Не наша мрачная, а ясная! На ней жила белка. Видеть белочку ему не удавалось. котя он знал, что она тут! Он чувствовал! Да и валялись свеже-обгрызанные шишки и скорлупа от орешков. Любовь его шла не столько к белочке, как к ели: душистой, пушистой и вечно-зеленой! — Жить бы на ней! думал он. Уединиться от мира...

Дальше шла группа друзей: молоды березки! Как девушки на-выданьи. Как девушки в церкви в вескресенье. — Он шел среди них, вдыхал и «березий» запах. Брал одну-другую за веточку-ручку, щекотал себе лицо и восклицал: « Ax!!! Ax!!! Xa!!! Xa!...« Дать бы им по красному платочку! Затеять бы пляску! »...

Последним другом был одинокий вяз. Здесь мир был другой: сумрачный и безрадостный. Обуров трогал его голое тело, смотрел вверх на скрученные сросшиеся ветви, как на заломанные от горя руки! Он напоминал ему Лаокаона и змей. Напоминал и его горести. Уходя, он хлопал дружески по стволу вяза и говорил: « Не унывай! ».

Шел домой, превратившись в мало-экспансивного и слегка задумчиваго человека. Иногда со жнивья, по пути, к нему подбегала некрасивая лохматая куцая собака. Тыкалась мордой в руку и он едва успевал ее погладить, как она опять бежала прямолинейным спешным бегом к небольшой отаре овец. Пастух, опершись на по-

сох, стоял неподвижно. Овцы медленно и кучно двигались, опустив головы. Небо сверху. Золото стырни снизу. — Библейская картина.

С собакой этой он познакомился случайно и она те-

перь поддерживала это знакомство.

К обеду собирались все пансионеры. Обуров сидел рядом с дамой, которой оказывал и за обедом и при всякой другой возможности знаки внимания. — Хлеб. Соль. Сахар. Цветок. Улыбка. — Очи его бывали опущены. За столом сидел и муж дамы, а в Париже осталась жена Обурова.

Каждая женщина по-своему прекрасна! Каждая женщина кому-то особено прекрасна... Обуров влюбился! Что-то совпало. То, что мечталось. О! не красота. Не ум. Не ноги. Конечно, не принято сравнивать влюбленного с барабаном... Увидел Георгий Евгеньевич эту даму и ударило, как по барабану: «Бум!» Внутри гул пошел: «Она! Она» — Бедный Обуров!

Как-то сидел он ночью близко к двенадцати и читал. Чтение было вперемежку с мечтами и тоской по ней. Кругом тишина. Ни звука. И вдруг, поднимает голову, — она стоит перед ним в двух шагах! У него в комнате! Он протянул к ней обе руки ладонями вверх. Она же улыбнулась печально и сказала (без слов) :« Я же приведенье! » И так с сочувствующей и очень женственной улыбкой исчезла. Растаяла.

На другой день в полночь он **слышит** легкие шаги. Притаился. Она? Но шаги проходят мимо в соседнюю пустую комнату. Там-шорох. Потом тишина.

Обуров взял фонарь, вышел и осветил дверь соседней комнаты. — На двери висел большой замок! — Комната эта предназаначалась Повожеву и была заперта!...

Утром Павел Владимирович Повожев и приехал, — маленький худой горбоносый бритый старичек. Было ли ночью его астральное тело? Кто может знать? Кто может поверить?.... Это был человек довольно странный. — Глаза, как у галки: серые, торчали отдельно и напряженно. В детстве он видел у своей кровати двух ангелов. — Чрезвычайно напугался и никому ничего не сказал. Когда подрос, то вдруг в нем заговорил грубый голос басом и стал его ругать! — Плоть что-ли бунтовала?

Было что-то в Повожеве от юродивого и логика своя-юродивая. Веры держался крепко.

В первый же день, возвращаясь из леса, Обуров застает картину. — Прямо на проезжей дороге сидит Павел Владимирович Повожев. Около валяется велосипед. Он же достал портсигар, на-двое ломает папироску в мундштук вставляет и закуривает! Сидя на проезжей дороге-то!

- « Павел Владимирович! Что же это вы! Ведь на вас может автомобиль из-за поворота выскочить и раздавить! Почему на дороге-то сидите? »
- «Я-то? Курить захотелось... С велосипеда упал... Не раздавят! Я знаю!!
 - « Взяли велосипед на-прокат? По чем? »
 - «Да. Запросили 75 в день. Я дал сто...»
- « Вы бы хоть седло-то попросили опустить. Оно вам высоко ».
 - « Да. Но ничего. Достаю »...

Павлу Владимировичу Повожеву было семьдесят пять лет.

Варвара-хозяйка его возненавидела. — Так как она была вроде как ведьмой! А наш юродивый вроде как Божьим человеком.

И, как нарочно, он, по житейской линии, — попросил утром давать ему яйцо всмятку и лихо это яйцо за кофе утром у нее на глазах кокал и ел! А она в уме убытки подсчитывала и раздражалась. — Так она разговаривать с ним совсем перестала, а писала ему записки: «Спички на дворе не бросать!» (Это во дворе, где ходит сотня кур). Или: «Ошурки от чеснока не бросать!» (Он на ночь зубчик чесноку глотал). Повожевничего. Головой качает, но воздерживается. А утром придет к кофе и яйцо кок! И спокойно есть. Варвара смотрит и накаляется, а за яйцо отдельно деньги спросить все же стыдно. Обязалась кормить хорошо...

Варвара Степановна двух мужей уже уморила! Один из них-Птичкин дворянином был. А третий-на исходе, чах! Настолько, что некие дамы, поджав губы, говаривали: «Вот умрет Николай Гаврилович, так выходите вы замуж за Петра Емьяновича. Человек он добрый. Глаза голубые. Большая пенсия у него будет и денеженки водятся ».

На что Варвара, ничто же сумняся, отвечала.

— « Пусть он мне сначала на книжку полутора миллиона положит (больше по закону было нельзя), да две(!) горничных наймет! »...

И так случилось, что Петр Емельянович возьми и приех! Смирный такой. Массивную ручку поцеловал. Голубыми глазами на тонкой шее поморгал и стал ей на зиму дрова пилить. — Услужить другому-его жизнь. Он, конечно, о проекте ничего не знал. — В большой опасности очутился человек!

И... Варвара... Голову вымыла... Взяла и села посереди двора волосы на солнце сушить! — Для соблазна. А волосы у нее замечательные: длинные, густые! — Красота большая в женских волосах таится!... Все кругом ходят. Восхищаются! Хвалят! — И волосы все пышней и пышней становятся! — А Петр Емельянович дрова пилит. Смотреть не идет!

Волосы высохли!

Стала она в кухне полы мыть. В позу становиться. — А сначала, чтоб внимание привлечь, стулья из кухни на двор повыбрасывала! — Стул летит, как игрушка! Об землю: хрясь!!! Все удивляются. Спросить боятся. — Видно-остервенела! Обходят. Да и стулья-то не их!...

А Петр Емельянович дрова пилит, смотреть не идет! Полы вымыла.

Настал вечер. Услужливые пансионеры ей коз пригнали. — Она же... Из кухни... Как выскочит! С криком: « Ату их!!! » (крик-то какой дикий! Татарский!) — Собаками своих собственных коз травит и за ними гоняется! Женщина крупная, мясистая! — Земля дрожит! Куры разбегаются! Одна собака, что поглупей, коз за ногу хватает! Козы на бегу вымя ногой поддают и молоко теряют! Другая собака, что поумней, на Обурова смотрит и глазами говорит: « Что же это творится-то? Собственных коз мучает! Прости ее! » А Варвара гонит коз прямо на Петра Емельяновича! Ураган: она сама! Козы! Куры! Собаки! — Петр Емельянович, милый, глаза свои добрые голубые на тонкой шее с удивлением поднял, дрова оставил и смотрит (наконец!). Стоит весь в опилках. И решает... что так и нужно. — Козам мацион.

Злой дух Варвару скончательно обуял! — И... Ночью... Когда... Все заснули... Вдруг. — Появилась Варвара! Полуодета. Шагает невидимо. Плывет на вершок

от земли. — Направляется в комнату к Петру Емельяновичу! Из под нее сыпятся красные искры, как от головешки. — Страшная! Решительная! — Зачем? — Мы не знаем! Мы можем только догадываться, но можем и ошибаться...

Неужели ризы будут разорваны? Очки будут разбиты? Стакан-с-водой-на-стуле будет пролит? Часы перестанут тикать? Он вскочит и завопит диким голосом?...

Но... Навстречу Варваре... Полуодетый... Но в голубом сияньи... Из своей каморки... Выпыл. Вылетел! Как петушек с карниза: маленький, сухонький, хиленький, бритый юродивый старичек Павел Погожев!

Зло и добро.. Постояло. Посмотрело... Потопталось... И каждый вернулся в свои комнаты.

Варвара Степановна Павла Владимирович совершенно возненавидела как ни старалась удержать свое человеческое состояние.

Первому уезжать как раз Повожеву. — Отпуск у него короткий. Варвара с вечера носится-волнуется. — «Он мне не заплатит! Ох! Не заплатит! » — Денежки то темные силы любят! Это их союзники!

На утро Павел Владимирович прежде всего яйцо: кок! Сидит ест, а деньги не платит! Варвара от волненья даже в чулан спраталась и стала там искры метать. Павел Владимирович яйцо съел. Кофе выпил. Оглянулся. Помычал. — Деньги, конечно, заплатил.

На радостях, — на варвариных радостях, — ели пансионеры фаршированную курицу размером с индюка.

В рассказе действуют всего четыре человека: Обуров-влюбленный, Варвара-ведьма, Петр Емельяновичнеподозревающий и Повожев-юродивый. Пятая, та, что в барабан ударила. — ее роль пассивна.

в барабан ударила, — ее роль пассивна.

Повожев уехал. Варвара ведьмачит, Петр Емельянович дрова пилит. А вот Обуров-бедный влюбленный! Все больше и больше! Страдает! И это вместо радости и счастья! А мог бы достчь блаженства! Летать обняв-

шись над океаном! Спать в розовых облаках! — Увы, не таков мир.

Однажды. В тихий час. Солнце печет. Он по двору ходит. Зашел в кухню. Огромная плита в сумерках кухни встретила его мрачным черным блеском. И вдруг: слышит он, что кто-то его зовет со двора громко и отчетливо и нельзя определить по голосу: женщина это или мужчина. Зовет:: «Георгий Евгеньевич!»

Он вышел во двор. — Никого! Огромный двор и бе-

лые стены дома ярко освещены солнцем...

— Надо уезжать!

И уехал.

А Варвара, когда провожала, когда будто бы провожала, — смотрела ему вслед в дырку ворот, — была такая, чтоб смотреть и подсматривать. В глазах ее блестящих не было ни капельки добра. — Лишь всплыла из человеческого болота темная сила. Она теперь ненавидела и Обурова! Так как юродивые, блаженные и влюбленные вроде как Божьи люди.



Париж. 1966. (Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

вилка

(Рождественский рассказ)

Конечно, подобные происшествия могут случатся только с Чепуриным, Владимиром Ивановичем. — Это он живет в двух планах и это он склонен наделять вещи какой-то душой, — пусть собственной эманацией. Но она-эта эманация, вселяясь в вещь « действует », « живет ». А Владимир Иванович, склонный вообще раздваиваться, не прочь одним своим « я » затеять с этой вновь образованной « душой » диалог!

Вернемся к вилке. Как попала к нему эта вилка он не знал. — Это была широкая большая некрасивая вилка, на других непохожая. — И он... ее... не взлюбил! — Вот начало эманации. — Начало зарождения души. Невзлюбив, он заставлял эту вилку, — значительно больше, чем другие, — работать и даже исполнять черную работу.

Мне это жалко утверждать, так как по натуре Владимир Иванович был человеком очень справедливым. — Основное его качество. — Но ведь тут: всего лишь вилка!

Человек небогатый, почти бедный, он поневоле во всем экономил, — вот и насел на эту вилку, а другие-хорошие приберегал. Он на горячей сковороде прижимал этой вилкой бифштекс. Ею же давил горячий картофель, снимал пригоревшую рыбу, — и так далее и тому подобное...

Сначаал вилка терпела. От работы она даже согнулась. — Сгорбилась от работы! Но потом стала протестовать! И даже строить козни! Поначалу вела себя как ребенок. — Стала прятаться! Ищет, — нету! Упорно ищет, — нету! Еще ищет, — наконец найдет! — Прижукнулась под бумагой в ящике.

Потом стала скользить из рук и падать на пол. — Лови! Догоняй! А упала, — значит надо мыть. — А она опять упадет! И опять мыть! Если один раз упала, допустим, — случайность. Но если другой раз, когда остерегаешься? ...И раз дошла до того, что уколола! Шарил эту вилку в ящике, а он его: пырь!!!

Кроме того она вошла в стачку с другими « темными силами » (Как иначе назвать?). Владимир Иванович вставал довольно поздно (ложился тоже поздно). Так что-ж вы думаете? Часов в шесть утра стала звонить в дверь! — Тут у Владимира Ивановича самый крепкий сон! А она: др! др! Приходится вставать. Открывает: никого! А потом заснуть не может! И вилка (или ее подружки) это проделывает довольно часто. Даже, если Владимир Иванович проснувшись не идет открывать, а думает: « это она! Подожду! » и звонок не повторяется, — но проснуться-то он проснулся! И заснуть-то снова не заснул!

Предпоследняя ее кознь-совершенон неожиданная! Утром пошел Чепурин в ванную комнату умываться. Проходит в передней мимо зеркального шкафа и замечает косым зрением отражение (собственное), говорит совершенно серьезно: «Бонжур, Месье!» Потом спо-хватывается, оглядывается, узнает себя и добавляет: «Ах! Это ты!» (он с собой на — ты) и продолжает путь в ванную комнату. — Ванная комната заново выкрашена и вся блестит! А над раковиной вставлено большое зеркало. Никакого интереса в своем зеркальном изображении Чепурин не находил, — не то что одна дама — его знакомая, с которой он как-то сидел в кафе. — Так эта дама все время смотрелась в зеркало! То так повернется, то этак. А сама лишь для вида разговаривает. — Уж очень она себе нравилась!

Есть что-то магическое в зеркале. Не даром при святочном гаданьи ставят зеркала и свечи: и длинный коридор видно. И кто-то, что-то появляется... И девушки падают в обморок... И наш Владимир Иванович случайно взглянул в зеркало. — И что же видит, — конечно ничего особенно страшного, но все-таки? — Она — разбойница, — конечно — вилка, — ему между усов широко до-бела выстригла! Противно смотреть! Ночью

значит. — Усы ведь это вроде как: муж и жена, пара, чета. И что-ж получилось? — Каждый укороченный ус отдельно! Развод!...

Последняя кознь-самая большая!... Пошел Владимир Иваневич в ванную комнату умываться. Сказал: «Бонжур!» шкафу и взглянул в зеркало. — А оттуда ему... большой кукиш!!! Как это понять? думает он. — Конец пришел? Даже сердце захолонуло. — Знак? И стал Чепурин раздумывать... Странный знак. И мысль, как молния, — что редко у Владимира Ивановича. — Мысль — как надежда. — Может-быть это новая вилкина кознь?...

Решил твердо: от вилки избавиться!... Но вот вопрос: сможет ли избавиться-то? Кто сильней?

Предлагает знакомым. Объясняет добросовестно. Те смеются и вилку взять соглашаются. — Сговорился с одним-высоким и бравым.

Приходит Высокий-и-Бравый. Все опять рассказал ему Владимир Иванович Чепурин про вилку: козни строит, звонит рано утром, кукиши сучит... Тот только улыбается: «Давайте, говорит, давайте!» — Завернул в бумажку и дал.

Наутро Владимир Иванович к зеркалу. — Кукиша нету. А смотрит на него оттуда кто-то. — Скуластый. Глаза карие широко расставлены. Выражение угрюмопечально, а смотрит с удивлением. — Кто бы это?... « Ах ты-Боже мой! Да это же я! Себя не узнал! » — и сразу покой на душе.

Утром, часов в семь, — сильный звонок к Чепурину. — « Что бы это значило? думает он » и идет открывать. Сначала, — как будто, — никого нет. А потом видит лежит на коврике... вилка! Его вилка. Пришла. Вернулась.

Жалко стало. Даже странно, — до чего жалко. Словно своя собака вернулась или кошка. А ведь-то, — как ссорились!

Взял. Помирились. Живут душа в душу.

**

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ

(При всей невероятности в основу ее положен факт. Автор перешел границу, но в развитии своем история продолжается в прямой последовательности).



Я вошел в автокар. Был в сером новом пальто, в высокой черной шляпе а ля Иден. У меня были карие умные глаза, черные брови и волосы с проседью, на руках-оливковые перчатки, а в руке кожаный портфель с хорошей блестящей застежкой. Лицо невозмутимо. Все было солидно. Я был « господином ». А что еще публика не знала: у меня было больше чем высшее образование, своя философия, которую трудно было поколебать. Тем не менее, нужно признать, что таких « господинов » в сером пальто и с потфелем, да и с собстченной философией существует значительное количество.

На другом конце автокара, на скамейке у стены, вполуоборот сидела барышня лет двадцати. Она была довольно бедно одета. Худые ноги. Ступни и руки великоваты. Руки видимо мывали посуду, а ноги, по всякому поводу и в шлепанцах, бегали в лавочку.

Лицо ея было довольно красиво. Губы полные, чуть капризные, хорошо очерчены. Шея длинная. Во всем была разлита некая лиловатость: в румянце, в цвете кожи не только лица, но, вероятно, и всего тела. Даже в волосах. А глаза были просто лиловые.

Она могла бы быть красивой, если бы ее месяц мазать кремом, душить духами, взбить пышно густо-рыжеватые волосы, подложить в известные места накладки (худовата!), подтянуть, одеть хорошо, на длинную шею надеть ожерелье из крупных розовых топазов... И чтобы поворачивала она эту шею с откидом головы. И капризные губы и глаза лиловые показывала проходящим и сидящим-с легким презрением и с легкого высо-ка. — Она всего этого не знала.

Итак, — вошел господин — « я ». И сразу она на меня уставилась, как на некое чудо, внезапно появившееся. Ошеломленная. Не могла оторваться. Зрачки глаз расширились. При чем: не видала она ни нового серого пальто, ни оливковых перчаток, ни портфеля с красивой застежкой, ни умноты глаз. — Смотрела в мое лицо вообще. Как зачарованная. И даже не в лицо, а за лицо, в мое «привиденье».

Я, по своей способности к наблюдению, отметил: относительную красоту, общую лиловатость, худобу ног, длинную вытянутую шею, губы, а главное, конечно, — уставленные на меня с необыкновенным удивлением, глаза.

— Чуть ей улыбнулся, — по природному дружелюбию, — одним прищуром. — Эффект получился совершенно неожиданный. — Она наклонила голову на длинной шее, как у лебедицы, и стала... смеяться! Спрятала голову под руку (чтоб не видели), как лебедица под крыло, — и смеяться! Смех пришел к ней, ворвался негаданно, как «радость солнца». По всему ее телу катились смехунчики. Дрожащие, неуловимые, словно ртуть. Катились от глаз к сердцу, от сердца по животу к ногам, а потом опять наверх.

С ней сидела подруга. Крайне удивленная, спрашивает: «Что с тобой? » И шепнула в ответ моя лебедица. Подруга взглянула на меня, и по лицу и по глазам было видно: ничего «такого» не нашла. А Лебедица (будем писать с большой буквы, как имя собственное) взглянула и пуще прежнего!

Тут, признаюсь, — я не мог удержаться и уже улыбнулся явно, — иначе не мог! Она фыркает. Подруга рядом, глядя на нее, тоже стала смеяться.

Тетенька рядом с ними смотрит — удивляется: «Что вы, говорит вслух, с ума что ли сошли!? » Тудасюда глазами, — поняла, что я тому причиной. Слегка улыбнулась: дело де девичье, да и глупы и мало воспитаны.

А те не унимаются. Главным образом Лебедица. Не-

которые почтенные дамы возмущенно католическими носами водят. Мужчины-ничего. У них на эту область католичество не распостраняется. Они даже невольно учавствуют. А я, как ни странно, уже сам от смеха удержаться не могу. — Взглянем друг на друга, — и пошло!

Шофер обернулся, да как на девиц гаркнет: «Ау!!! » Напугал от неожиданности до полу-смерти, а те потом сразу еще больше! Наклонялись от смеха до самых колен! — Публика вся заулыбалась. — Дело получилось как бы общим. Сочувствуют. Я же стал платком закрываться, — так смешно! Вот-вот фыркну...

Вдруг моя Лебедица в лице изменилась, — словно что-то в ней прорвало и ключем забило. — Зрачки расширены и шею вытянула и сама за шеей потянулась и встала, ко мне обернувшись. Взглянула на меня без экивоков: «Выходи?!» Контроль над собой потеряла. Красота с лица исчезла: тут не до красоты! Красотамелочь! А притягательность стала другой и еще сильней!

И во мне что-то оборвалось. Отпало. Забылось сразу. — И я встал к ней навстречу. — Она же увидала и в лице появилось и радостное и хищное. — Ага! Ох, жуть! Игра начинается! Раз в жизни! Все на карту! По-играть. Доиграться. А там, хоть умереть!

Вытянула руки вперед, а голову на длинной шее назад. На меня смотрит : начинай! Пробуй! Лови! Бери!!

Я выступил животом вперед. Крупный. Толстоватый. И глаза таращу и плечами повожу, — красуюсь, как могу! Ну, прямо медведь! Вот-вот заплящу! Но какой медведь? Медведь, который готов лезть на небо, идти сотни верст не пивши не евши. Потерять шерсть, мясо, кожу... Даже душу.

Глазами впивають. Глупая улыбка (ум уж тут не при чем, через ум перешагнул). За каждым движением слежу, — Да к ней руками, — схватить наровлю броском.

«Тука-тука-тука!» Началось слегка, как легкий шум, как там-там. — Из лесу, а может быть это в голове кровь бьет. — И как брошусь! Почти-что заревел! — Она отскочила довольная. — А сама опять ко мне подставляется.

Что тут началось. Зрители-пассажиры следили с

жутким интересом. Некоторые-слабосердечные потеряли или почти потеряли сознание. Бледные, опустив голову, прижались в углах сидений, а то просто валялись на полу. Другие странно приплясывали всем телом. Койкто следил, вытаращив глаза и открыв рот. Дамы с носами неодобрительно покачивали головой, но не могли остановиться, такт какой-то выдерживали.

Мы уже в пылу схватки стали кататься по полу. Шляпу мою подмяли. Ее юбченка сбилась. Худые ноги сверкают до самого корня... Я хватаю, как могу...

Шофер заорал песни и пустил машину во всю мочь! Наконец даже автокар не выдержал и лопнул со страшным треском!

Мы своего добились...

Мне бы очень не хотелось, чтобы этот рассказ был причислен к категории неприличных. Существуют не только осуждающие « католические носы », но и « православные ». Неприличие же находится в воображении осуждающих, а не моем. К счастью Солженицин переступил в « Раковом Корпусе » это глупое (для нашего времени) табу отношений мужчины и женщины.

Писатель и художник освещают « под углом ». Конечно, в конце у меня разигралась фантазия. Но ведь та же сцена (последняя) могла произойти на поляне в лесу. А то, что « они добились своего », — не будем « притворами ». Если хотите, заменим ее счастливым концом и браком. — Тоже: « добились своего »

У французов есть выражение « Coup de foudre » — в значении неожиданной и чрезвычайно-быстрой влюбленности. Она существет, такая влюбленность.

Было бы лучше, если б я написал, так, как происходило (в конце) на самом деле? — Девица, сидящяя радом с Лебедицей, встала, взглянула на меня и отшла в сторону: она уступала мне место рядом. Я степенно, — все в автокаре заулыбались, — перешел почти весь автокар и сел рядом. Подал руку и поздаровался... Шофер на самом деле крикнул: « Хура!!! » и пустил машину во весь ход. А дальше: как всегда. Не лучше ли « полюбить » под обломками автокара?

ДОСТОЙНА

Стройная пожилая дама с прической сбитой вверх в особенности у висков в корсете и шелковом темно-сером платье сидела за чайным столом вечером и разговаривала-рассуждала с крупным неуклюжего вида господином с проседью. Господин этот сильно сутулился, на стуле помещался с неудобством, глаза имел щурые, тусклые и на собеседницу смотрел лишь изредка. Можно было подумать, что глаза его по ошибке были повернуты внутрь себя и там хорошо и ясно видели. Зато наоборот глаза дамы красивые и ясные и глубокие, и оживленные смотрели на гостя. Присутствовала и занималась чаем и угощала и дочка хозяйки-барышня лет тридцати с правильными чертами лица и голубыми маленькими глазами, — что является признаком ума, — острыми, как ножницы! В разговоре она участия не принимала, лишь изредка вставляя иронические или шуточные замечания. Она предоставляла возможность поговорить матери, которая целый день бывала одна, а дочка на работе.

Я обращаю внимание на глаза, так как они принимали особое, часто отдельное, участие в рассказе. Взгляд их — например козяйки — иногда останавливался с легким удивлением на госте, а вопроса или слова никакого не призносилось. Так-же и Владимир Иванович — гость соглашаясь с козяйкой и ведя разговор по линии светской, давал примеры и вставлял реплики — при лукавом блеске в обычно тусклых глазах, — примеры эти совершенон выпадали из благообразного контекста. Глаза-ножницы дочки тоже вдруг загорались словно них падал луч солнца. Также в глазах дамы-хозяйки видна была например прожитая ею жизнь...

И как смотрел Владимир Иванович на маленькие чашки для чая, — можно было заключить, что он эти маленькие чашки презирает, а ему нужны были бы большие. А то выпьет две, а попросить третью стесняется.

Для женщин: поговорить составляет существенную часть их жизни. Сколько раз встречал я на тротуаре в базарный день двух женщин с сумками: стоят и разговаривают. Долго разговаривают. С оживлением. Хотя бы о пустяках. О мелочах жизни. О проблематичном. Но душа разряжается. Успокаивается. Я знаю одну даму, у которой был прекрасный муж, но он был крайне молчалив. Для него пустяки жизни не представляли интереса, а для жены и пустяки жизни имели интерес, и наконец ей просто хотелось поговорить. А тут муж сидит, смотрит умными глазами и... ни слова! — Поговорил бы «о событиях!» В данном случае жене хотелось разговора именно «о событиях» и «о перспективах». Для мужа — « события » мало что означали, и « перспектив » не было, — он и молчал... В результате дама развелась с мужем и вышла замуж за другого.

Вернемся к нашей основной даме — Надежде Николаевне. Мы застаем нашу чайную компанию уже в середине разговора. И был какой-то повод для начала.

- «Я удивляюсь, говорили она с изысканной интонацией в голосе, людям, которые не хотят признавать правил хорошего тона. Корректность и вежливость не мешают любить, выходить замуж и жениться. Почему но соблюдать принятую в обществе форму? ».
- «Да, совершенно согласен. Нормы и формы часто красят жизнь, если они хороши. Форма даже часто ...дает смысл! Это мы замечаем в поэзии, где напр. с трудом найденная рифма неожиданно для самого поэта дает новый и даже глубокий смысл стихотворению. Я знал одного известного поэта, который для Манделье, городка на юге Франции, нашел рифму.. белье и прочел это «белье» с таким глубокомысленным видом, что оно приобрело смысл».
- « Мамочка! Не очень то верь Владимиру Ивановичу!... Он издевается над поэзией! вмешалась дочка, блеснув ножницами »...
- « Что вы, Евдокия Петровна! Я люблю поэзию и сам романтик, но не выношу декламации и стихоплете-

ния, а большинство так называемых поэтов суть стихоплеты... Кроме того не люблю сентиментализма... А полу-блаженные дамы или барышни слушают и восхищаются ...Настоящая поэзия может быть даже в... смерти. Я так надеюсь умереть в поэтическом экстазе! Надежда, конечно, глупая ».

- « А я люблю стихи. Возьму Пушкина, открою книжку, читаю и наслаждаюсь и забываю нашу серую жизнь... »
- « Что вы! Я наслаждаюсь Пушкиным даже не открывая книжки. Или Лермонтов : « Выхожу один я на дорогу »... Мы все одни на дороге и « кремнистый путь » наш путь.
 - ...Евдокия Петровна же наслаждается Блоком... »
 - « Кто вам сказал? »
- «Я сам. А кого читаете и перечитываете из современных поэтов».
- «Перечитываю?» ...Есть и среди современных хорошие поэты».
- Н-да. Есть. Сколько?... Лучше вернемся к « вежливости », теме, затронутой Надеждой Николаевной. И к корректности. Я, помню, подрался первый раз в гимназии. Был во втором классе. Мой противник Курдюмов из того же класса, но второго отделения. И в пылу драки я его ударил в шею и извинился, так как считал, что, по неписанному правилу, по голове и значит по шее нельзя быть... Вежливость украшает нашу жизнь... Конечно могут быть случаи... Тоже расскажу. Можно?
 - « Пожалуйста ».
- «Дорогая моя! начал Владимир Иванович. Нет! Это не подходит! Лучше :
- «Шери!» Нет! Еще лучше: «Дарлинг!» Англичане ипокриты. Итак. Дарлинг встань пожалуйста! Я хочу тебя убить. Ты мне изменяешь. Встань, чтобы я не промахнулся и лишь поранил бы и ты напрасно не страдала бы ». И муж приветливо улыбнулся и вытащил револьвер.

Жена дико **«невежливо »** закричала и бросилась в кухню.

— «Повернись, дарлинг! Не буду же я тебе стрелять в спину! Это некорректно».

Из кухни послышался дикий крик со слезами:

« Если ты войдешь сюда, то я закричу: «О секур!!! (Дело происходимо во Франции) и брошусь в окно! »

- « Дарлинг! Ты сломаешь себе ноги и останешься калекой на всю жизнь или умрешь в страданиях ».
- « Не входи!!! » Закричала она еще громче и плача навзрыд ».
- « Как хочешь, дарлинг. У меня есть время! » Он оделся и ушел, стукнув дверью.

Через некоторое время жена, вся еще в слезах, вышла из кухни. Прислушалась. Подошла к телефону и составила номер. —

— « Алеша! Больше не приходи! Какой ужас! Он котел меня застрелить! Будь сам осторожней! Я с тобой больше по телефону разговаривать не буду. **Прощай навсегда!** » Она всхлипнула и повесила трубку. Оглянулась. — Рядом стоял муж. — Он тихо (невежливо) вошел и тихо по ковру подошел.

Владимир Иванович замолчал и прихлебнул чай.

- -- « А что же дальше? » спросили обе дамы.
- « Не знаю».
- « Неужели вы способны убить женщину? » спросила хозяйка и грациозным движением тронула сбитые вверх волосы.
- «Женщина должна быть достойной, чтобы быть убитой »... Эта едва ли.

Дамы переглянулись. Фраза была неожиданна и мало понятна. Все это выразилось лишь в их глазах, но они ничего не сказали. Владимир же Иванович сидел, опустив голову и тускло смотрел куда-то вниз, даже не вниз, а внутрь себя. Потом незаметно взглянул на часы. — Было около десяти. Он встал, сделал полу-по-клон и растерянно улыбнулся. Поцеловал ручки дамам.

— « Приходите пожалуйста! Мы всегда вам рады. Может быть расскажете что-нибудь еще, добавили Евдокия Петровна »...

Владимир Иванович направился в переднюю. Провожать пошла дочка. Хозяйка по этикету гостя в переднюю не проважает.

- « Мамочка! Я опять задержусь. Сегодня вечером собрание Правления. Ужинай одна. Оставь мне что-нибудь. Немного. Я тут перекушу: сандвич с чаем ».
 - «Не очень задержишься?»
 - « Не думаю. Они тоже хотят спать »...

Евдокия же Петровна берет такси и едет в ближайший пригород. Там во дворе она чуть звонит в простой звонок-колокольчик. — Тихое: «Дзинь!» Дверь сразу открывается и быстро закрывается. Какой-то лохматый медведь хватает ее за волосы, невежливо, — смотрит пристально в глаза, — а у самого глаза, как угли — целует и обнимает так, что у Евдокии Петровны трещат кости. Но она терпит и ее глаза сверкают от радости. И нет в них «ножниц».

Так каждую пятницу и каждый раз внове.

В воскресенье в наш уже знакомый дом к чаю в пять приходили две дамы... Две дамы, да две, — получалось четыре... Наговоривались.

Во вторник как всегда пришел в гости Владимир Иванович. Дочки не было.

- « А где же Евдокия Петровна? »
- « Евдося в церкви. Еще не вернулась. Завтра Благовещение, служба с елеосвящением. Большой праздник ».
- «С новым стилем забываем о праздниках. Благовещение-огромный праздник, радостный. Птиц выпускали. Пироги пекли. Весна чувствовалась. Маленьким я был верующим до экзальтации и я не удивился бы, если в церкви на обедне в кадильном дыму, как в облаках, в лучах весеннего солнца, что проникали в церковь, я увидел бы ангелов...

В это время послышался звук ключа и через минуту вошла Евдокия Петровна.

Евдокия Петровна вообще была склонна к легкой иронии и скептицизму, — что при ее уме и метком слове даже отпугивало поклонников. Но на этот раз у нее

был умиротворенный вид и голубые глаза тихой радостью освещали все лицо.

Гость посмотрел внимательно и сказал: «Я вижу, Евдокия Петровна, Бог вас простил!».

- « A вас? »
- « Меня нет »...
- «Почему? Бог добрый!»
- «К мужчинам Он строже. Женщинам доступней. Мы молиться не умеем. Только при смертельной опасности... если успеваем. И потом: вы женщины грешите и прощенья просите, а мы грешим и помалкиваем».
 - « А если за вас молятся ».
- «Не надо! вдруг сказал Владимир Иванович. Он встал, как пораженный, обвел безсмысленними глазами углы комнаты и снова сел. Тихо сказал: «Кому за меня молиться? Ведь такой человек этим, может быть, от себя часть Божьей помощи отнимает. А мать моя умерла...»
- « Вот Евдося пришла... Прошлый раз, во вторник, мы с ней говорили о вашем рассказе... Я опять вас спрашиваю, неужели вы способны убить женщину? Вы так рассказывали, словно в « этом деле » были замешаны... »
- «Может-быть вы были Алешей? » спросила Евдося.
- « Может-быть... Со мной был другой случай. Я не таю свой примитивизм. Я был влюблен. И моя героиня была существом двуличным и безпринципным. Странно даже в таких влюбляться... Часто не от нас зависит... Так представьте себе, я подкарауливал мою милую также по вторником вечером в темном переулке, не пойдет ли она к своему бывшему? Он ее водочкой подпаивал. У них по вторником раньше свиденье бывало... Я б ее не убил! Она была недостойна быть убитой, а дал бы ей две сильных пощечины, так чтоб сбить с ног! и сказал бы слово, которое теперь повторить не могу. И оставил бы ее валяться и оставил бы вообще... Следовало бы ей зуб выбить! Так как она ценила только « материальное », а пощечина-моральное... »
- «Я от вас этого не ожидала!» с силой сказала хозяйка. Евлося! Ты слышала?
 - «Я сам не ожидал... Мне было противно ждать

в темном переулке. Но не Мышкиным же быть: понимать и прощать. Кроме того наказание вообще необходимо. Надо дать пострадать, чтобы понять и одуматься. Тогда, конечно, я ни о какой философии не думал... К счастью, она не пошла!»

- « Вы просто не встретили порядочной женщины, а все каких-то « лвуличных ».
- «Вас я за двиличную не считаю, сказал Владимир Иванович, обращаясь к Евдосе. Вы не двуличная, а двуликая, что не одно и тоже ».
 - «И вы знаете оба моих лика?»
 - « Знаю. Прекрасно знаю! »
- « Можете ошибиться! » сказала Евдося с легким вызовом ».
- « Не будьте самоуверенны, Владимир Иванович. Евдося скрытна! »
- « Что мне Мамочка, скрывать. Какая моя жизнь. Целый день на службе »...

Около десяти часов Владимир Иванович незаметно смотрит на часы. Встает. Делает полу-поклон. Растеренно улыбается. Подходит к ручкам.

— « Приходите, пожалуйста, Владимир Иванович! Мы всегла вам ралы ».

Владимир Иванович направляется в переднюю. Проважать идет Евдокия Петровна, так как по этикету хозяйка дома гостя в переднюю не проважает... И вдруг в передней Евдося тихо спрашивает: « А я достойна быть убитой?

- « Да. Достойны ».
- « До пятницы ».



Август 1968. Париж. (Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

что может изменить?

(Рассказ)

На небе, в воздухе, в моей жизни: зеленые безразличные облака, зеленые тени, холодные дунавения... Все оторвано от меня, от моего « я ». Ничто меня ни с чем понастоящему не связывает. — Зачем тогда жить? Жить, чтобы что? Дальше идет старость. Силы будут слабеть. Появится материальная зависимость. Зависимость от болезней. Возможность унижений. — Скрытых или явных, — все равно. — Теперь, пока « ты » еще « я », — лучше уйти.

Я так и решил. — Решил покончить с собой, пока еще есть силы и пока еще « в здравом уме ». Достал револьвер. Решил покончить с собой на работе (не дома же!)... Я занимал маленькое место в большом учреждении. — И вот, уединившись. — Чик! — и готово!

О своем плане, но в чисто филосовском аспекте и совершенно спокойным тоном, я поделился с одним французом, работавшем со мной вместе. — Это был любопытный тип: материалист с философским уклоном, скептик и скрытый коммунист. (Явным коммунистом у нас нельзя было быть). По происхождению он был... чилиец. — Его отец приехал во Францию со всеми своими деньгами и его тут начисто обокрали! Он кое-как выбился. Стал бухгалтером. Женился на француженке. Детям своим дал небольшое образование, но не оставил никакого достатка.

Ля Ривера, — фамилия моего сослуживца, — был очень замкнут, молчалив, резок и остер на ответы и его все оставили в покое. Только со мной, когда мы работали одни, он становился откровенен и делился сиплым

голосом своей жизнью, своими взглядами. — Это не был рассказ, а постепенно фраза за фразой, отрывисто, среди работы... Только со временем у меня составилось о нем впечатление довольно полное

Нас, казалось, ничто не объединяло. Я — идеалист. человек благожелательный и снисходительный к людям, склонный к компромиссу. Он же был совершенно нетерпимым и озлобленным марксистом. Беспощадным в своих суждениях. Я был, видимо, для него исключением. Он считал, что я « единственно честный человек » и потому мне можно оказывать доверие. При чем честность понималась им не только в том, что человек не ворует, не обманывает, а и в том, что он чист в своих намерениях, мыслях, планах. — Спасибо ему за такое мнение обо мне. При чем, я ему никаких знаков симпатии не показывал. — А ему следовало бы... (показывать). Без счастья. Одинокий озлобленный человек, — а таким симпатия и дружба нужна... Жену он свою не любил: «мещанка!»... И, кроме того, когда (если) будет « последний решительный бой », то он пойдет впереди и погибнет. — Передние гибнут. — Тоже надо жалеть. Почеловечеству.

Верил или не верил Ля Ривера, что я кочу покончить жизнь самоубийством, — не знаю. Но слушал внимательно. Он вероятно думал, что « честные люди » из другого лагеря так и должны поступать.

Мы стали разговаривать о другом и я узнал, что его дочь выдержала экзамен на «кордон бле». Говорил он с небрежностью, но в зрачках его появился розовый свет. Видимо дочь свою он «скрыто любил». Как курьез: одно из экзаменнационных заданий было, — приготовить (сварить) картофель. Просто: картофель и тут-то и можно показать искусство.

Уйти из жизни! Что меня в ней удерживает? Жизнь моя практически бесполезна. Никто меня по-настоящему не любит. С женой — ничего общого. Она стала мало-вежливой. Может быть это и нормально, и что у большинства так между мужем и женой. — И подумаешь, чего захотел: вежливости! — В наш век! У нее трудная и тяжелая работа... Но меня эта малая вежливость огорчает. — Ведь я с ней все время живу... Сын немножко любит, но больше любит свою жену, которая ходит и вертит задом... Правда, есть старый, совсем

старый отец. Но чувства у него притупились. Он ведет созерцательную и растительную жизнь. Напоминает мне старую-престарую лозину с огромным дуплом внутри. Седоватая зелень продолговатых листьев равнялась седине его волос.

Я выбрал день, когда (по работе) мы должны были отправиться за город. И там, во время перерыва... Гденибудь в лесу... Решил.

Встал рано... Мы плыли через озеро. Со мной рядом сидел Ля Ривера. Его красноватое некрасивое лицо с большим носом и серыми очень выпуклыми глазами казалось за мной наблюдало. Его неподвижная фигура напоминала мне химеру с Нотр Дам де Пари... Напоминала почему-то также Ивана Карамазова. — Сидит и ждет. А преступление готовится. И потом будет молчать...

Я ощущал в кармане револьвер. Был молчалив, что в общем — всегда. Сначала я думал застрелиться в висок, а потом перерешил: лучше в сердце, — сохранится голова. Я стал нащупывать ребра и определять точно положение сердца.

Было восемь с четвертью. В девять нам дадут кофе. — Тогда-то и можно будет отойти в сторону. Как раз насчет кофе объявили, что молоко прокисло и что дадут черного кофе, но за-то можно будет пить по три чашки. — Я черный кофе не люблю...

Время тянулось медленно. Часто смотрел на часы. И слегка забавлялся: неизбежное совершится и ничто не может его изменить! Вот пример неизбежности! — Может ли что-нибудь такое случиться, что этого не произойдет?

Вдруг спохватился. Надо же оставить записку, что де «в смерти моей прошу никого не винить». — Но кому адресовать? Никому? — Решил написать отцу. Написал лишь одно слово: «Простите» (Я с отцом на-вы).

Мы пристали к берегу. Без четверти девять. Сейчас будут раздавать кофе. — Может ли что-нибудь изменить мою судьбу? — Ничто!

...И вдруг оказалось, — **может!** — Я проснулся! Отца моего не было в живых. Он давно умер. Но француз был и **все остальное было**. И хотя это был сон, но встает другой вопрос: **« Надолго** ли изменилась моя судьба? Смогу ли я второй раз проснуться? А если нет, то надо решать вопрос безповоротно.



(Было напечатано в «Новом Русском Слове» — Нью-Иорк)

УЧИТЕЛЬ

Этюд

Жизнь полна мелочей, мыслей, поэтических и даже фантастических отступлений. Существует ли случайность? Что важно, что не важно?

Стройный рассказ редко соответствует жизни.

Учителю гимназии было лет тридцать пять. — Для мужчины возраст прекрасный. Если добавить к этому: здоровье, привлекательные черты лица и принять во внимание, — культурное занятие "умеренную обеспеченность, то, собственно, человеку и желать больше нечего.

Единственно, что отличало учителя от других, — это печаль в глазах. Но люди этой печали не видели, и он эту печаль тщательно скрывал. — Как советский « иллюзионист » Кио в Лондоне, поставивши на середину арены цирка клетку на ножках, куда вошла полная красивая жена фокусника (и сделала несколько привлекательных антраша) и, накрывши эту клетку черным платом, он вдруг быстро его сдернул, — и вместо жены в клетке оказался. .живой рыкающий лев (грянул гром аплодисментов), — так и наш учитель быстрым усилием воли вдруг заставлял исчезать свою печаль и вместо печали появлялись, при разговоре, легкая насмешка и острое слово, а без собеседника, но при людях: выражение погруженности « как у коровы ». — Так и сказал однажды мальчик-племянник: « дядя, ты

смтришь как корова »... А печали ни-ни! даже при мальчике. Скрыта!

Учитель жил один. Придет к нему знакомый! « А, Николай Захарович! Очень рад! Садитесь пожалуйста ». Шутит. Острит. Чаем угощает. — « Еще чашку, я знаю, вы всегда две чашки пьете »! Про книжку разговаривает. А уйдет, — печаль в глазах. Она, конечно, выражала состояние души и ее неудовлетворенность. Порождала пассивность, оторванность от реальной жизни, невключенность...

Может быть где-нибудь на другой планете, более старой чем земля (теперь вероятно погибшей), жили люди как он и дышали они уже не кислородом, дающим горение и сжигание... Не было там и азота, порождающего веселящий газ. Люди как бы предчувствовали грядущую гибель их планеты. Идеи и страсти потеряли остроту. Прекратились ссоры и споры.

Й там, как и ирисы лиловые, печаль цвела.

Скрывать ее не надо, скрывать не надо.

У ив плакучих там журчали тихо речки,

И вечерами, целомудренно обнявшись, сидели пары; Позднее, к ночи, им перепел напоминал, что «спать пора»,

И даже в свадебном пиру играла арфа.

Душа учителя оттуда... Печаль... Это не та печаль что у девушки на балу без кавалера. Носил ли наш учитель зерно праведника? и печалилась душа его о мире?... И вдруг это зерно проснется и выростет в большой дуб! Или размножится в пшеничное поле!

Ой, пронюхают про зерно темные силы!

Но наш учитель был и нормальным человеком. — Бородка, руки, ноги... — « Надо жить как все », — иногда думал он. (Вот оно!) И когда это думал, то в комнате появлялась женщина (воображаемая). Она ходила, топала, шуршала платьем, убирала и путала на столе его записки. Заставляла мыть посуду. Просилась в театр. А к ночи смотрела странными глазами. — Где же его свобода? Куда денет он свою печаль?

Гимназия была смешанная. Город глубоко-провинциальный не мог позволить себе роскошь иметь отдельно мужскую и женскую. И надо отдать справедливость, что « смешанность » эта, в общем, не вредила ни науке, ни морали...

Сегодня учитель опаздывал и взял извозчика — «чтобы не бежать». А извочик-то вырос как из-под земли. Стоит, — поджидает. Старый. Сизый. В городе-то вообще извозчиков было мало.

— В гимназию. Никитская улица!

Поехали-ехали.

— Э-э! Что-ж это, ты — братец! — очнулся учитель. — Куда везешь!?

Какой-то мещанский пригород. Даже шоссе нет. Травка. Домики с малыми окошками. Дали с холмами. Солнце на голубом небе ни с чем не считается...

Извозчик что-то бормочет. Совсем шалый. Пьян — не пьян. И даже не оборачивается... Нельзя на старого человека выше меры обижаться.

— Стой! Не туда завез! А я спешу! Заблудился!?

Извозчик остановил лошадь и, неожиданно, слез с козел, вошел в какой-то дом и не выходит. — Чай что ли пьет?... Нет, выходит!... Но это не он, а другой — молодой, сын может быть. Идет быстро. Глаза голубые. Светятся. — Подходит и говорит.

- Лучше не ждите! Идите домой пешком! Добра желаю!
 - Как пешком? Куда домой? Я в гимназию!
- Ничего не знаю! Идите прямо-прямо, в город и попадете. Там спросите. А его оставьте!
 - Болен что ли?
 - Да нет!
 - А деньги?
 - Какие ему деньги! Не туда завез!
 - Нет! Я не могу без денег!
 - Ну, положите на козлы двадцать копеек!
 - Это мало!...

А в это время извозчик выходит. Молодой отошел и в сторону смотрит, как ни в чем не бывало.

- Узнал дорогу?
- Сейчас! (первое его слово). Сел на облучок, проехал шагов пятьдесят, да опять в дом! (Что за оказия!) Оттуда вышла женщина пестро-одетая, еще молодая. Ладная. Лицо смуглое, круглое. Глаза темные, большие.

Смеется. (Чему смеется?) Зубы ровные, влажные, блестят.

— Идите, — говорит — сюда, идите! Что надо-то? Я все расскажу! — А сама с крылца не сходит. Крыльцо высокое: три больших ступени и крыто шалашом.

Как ни как, — дама. Не кричать же. Учитель слез. Вошел на крыльцо:

- Мне в гимназию надо. Никитская улица... А извозчик дорогу не знает.
- Ах, милый господин! Это легко! И его рукой по плечу « одобряет » и рассматривает как бы с жадностью. Глаза в душу так и лезут... И « яблоками » соблазняет : два больших яблока, золотой налив... И тоже в дом скрылась! Быстро вернулась. несет что-то в ладошке (рука маленькая). Несет в ладошке и прямо учителю на голову! Душистым полила помазала! Учитель даже ахнуть не успел. Какая фамильярность!
- Это, говорит брильянтин! Я брильянтин делаю... и стала дорогу объяснять, а над смущением учителя (из-за брильянтина-то) посмеивается (по глазам видно). Дорогу ясно рассказала и добавляет:

— Приходите посмотреть как я брильянтин де-

лаю!... Хотите я вам еще плешку помажу.

— Нет спасибо! — мрачно ответил учитель... — И никакой плешки у меня нету!

— Это мы увидим! — Неожиданно ответила женщина и подала руку на прощание.

Учитель сел на извозщика. «Совершенно безцеремонная! — думает. — Так и цепляет! ... И сама видела, что плешки нет, когда брильянтином по голове мазала ». Он попробовал рукой макушку (плешки нет) и понюхал: пахнет духами.

Извозчик погнал. Кобыла его (лошадь была кобылой) неслась как ветер, даже хвост развевала, — отку-

да прыть!

Ловко подкатили к гимназии. Но минут на пятнадцать все же опоздал. Директор, — аршин проглотил и усы как у кота, — стоял у зеркального окна, смотрел и ждал.

— Что опаздываете-то? — и больше ничего не добавил. Он видел извозчика, видел что спешил и думал, что его боятся, чем был даже доволен.

Учитель поздоровался. Сказал: «Сожалею, — так вышло. — Извозчик заблудился», — и пошел в класс.

Его урок был в восьмом — в последнем. В классе уже сидел Николай Григорьевич — инспектор. — Симпатичнейший господин. И дети его любили, хотя он и давал ребятам оплеухи, — но за дело, и в этих оплеухах была и удаль и душа, и дети это чувствовали.

При входе учителя класс встал. Одна ученица — Тихомирова, блондинка, как спелая рожь, — вспыхнула словно зарево пожара и продолжала гореть, и никакие силы мира не могли потушить это пламя влюбленности — это человеческое чудо! И ученики знали и учитель знал. Бывало, когда спрашивал, то глаз на нее не поднимал, чтоб смущать меньше. А если поднимет случайно, то загоралась она, как дикий мак на солнце, вся светилась восторгом, вся лучилась. — И, признаться, было это учителю « утешением » и создавало поэтическое мечтательное настроение. — « Боже! — думал он... Какая красота! А что, если ее тронуть, обнять, — растает как Снегурочка! — И эта любовь, и эта влюбленность, — пройдет!!! — Неужели!? — Нужно, чтобы любовь была вечной! Нужно, чтобы могли любить только одна пара, они одни и никто другой! Чтобы шли они через леса и горы друг к другу. — И — (учитель стал думать стихами) —

И есть где-то остров, Потоком бурным окруженный, Где царствует любовь! И тот, кто любит, — Расступится поток, как море у евреев. — По камушкам пройдет. И друг или подруга, — На берегу и в ожидании томном, — В объяться примет! И чуть коснутся, Как заполонит, вспыхнет радость. — Над головами огоньки! Исчезнет время! Нет возраста. Нет расы. Нет ценностей материальных, — А есть, — любовь!... Там розы без шипов, Нал липою цветущей вьется пчелка,

И клевер обнял шмель. А в небе облака, — Встречаются влюбленные, чтобы вместе быть, — Не расставаться. Там скептикам не место! Торгующих туда не принимают, — Любовь, — дар Божий.

Где этот остров?



После уроков опять с учителем увязалась Дудурина, а восьмиклассники сзади веером. Дудурина — ученица с глазами женщины. Второгодница в седьмом классе, где наш учитель даже не давал уроков. Крупная, замечательно-сложенная, он излучала из себя этот «женский зов», к которому восьмиклассники не могли оставаться равнодушными.

Дудурина взяла манеру: поджидает после уроков учителя и идет с ним вместе, разговаривает оживленно и красуется. Сзади ребята только переглядываются. Не понимает, что это неудобно: он же учитель, а она ученица. — А директор в окно смотрит. И как дать понять, что так нельзя. Учитель отвечал ей односложно, но это ее нисколько не смущало. Намеки же, которые он пытался делать, она принимала за проявление интимности и они ее только радовали.

Глупа, наверно. Второгодница. А ведь как сложена! И неизвестно, — есть ли у нее душа? Пар, наверно... теплый... наощупь. —

И так продолжалось: раз, два, три, четыре, пять... Учитель жил во втором этаже, а в первом: его знакомые, которые теперь куда-то уехали. Проходит раз мимо, видит, дверь открыта. Полы темные натерты и странно удаляются, как в бесконечность. — И никого. Он крикнул: « Ну как, приехали?! Хорошо провели время?! » Никто не отвечает... Половицы блестят. Вдруг из кухни вышел старик с седыми усами, — вылитый извозчик, — и говорит: «Я водо-провод-чик». Смотрит. Ждет. И больше ничего. Учитель сказал: —

« Спасибо » — Быстро поднялся к себе и закрыл дверь.

В этот вечер он опять подумал: «Надо жить, как все » и, войдя в спальню, на подушке вдруг, — голова. Женщина. Волосы черные разметались. Грудь: яблоки, золотой налив. А глаза впились. Темные, большие и как рукой тянут и открыть «тайну » обещают... — прямо навождение!...

Дудурила не оставляла. Поджидает. Восьмиклассники около. Директор смотрит. Аршин проглотил. Разговаривает, как приятельница. Красуется... Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять...

Однажды. Он выходит. Она, — у калитки. Они, — около. Директор аршин. Невозмутимым надо. — Открыл калитку. Ее пропустил. — Как же иначе. И вдруг видит — стоит извозчик. Тот. Самый. Усы и кляча. — Сяду!!! Сел. Слегка кивнул. Извозчику сказал: «Бабанинский переулок». Тот чмокнул. Кляча понеслась. Хвост по ветру. Живая картина сзади. — Недовольная Дудурина. Разинули рты ребята. Директор в зеркальном окне. Блик солнца на стекле. Зелень деревьев...

Ходит девочка вдоль речки, Хочет в брод перейти, — Не ходи, не ходи! — Папу с мамой подожди! По опушке зайчик скачет, Зайчик прыгает... За опушкой, за кустами Лиса сигает. Не ходи, не ходи... Одно пятнышко довольно Чистоту испачкать...

Не ходи, не ходи! Чистоту свою блюди!

Учитель сидел и думал: «На этот раз вышло неплохо. Но все равно надо будет ей сказать... Или может быть задерживаться в учительской... Но ведь она способна ждать. — Нет, лучше прямо объяснить «по-то-варищески»...

Пока он так рассуждал, лошадь на большом ходу вдруг остановилась. — Перед ним: домик с высоким крыльцом. Открылась дверь и вышла хозяйка пестроодетая. На груди монисты. На руках браслеты. С крыльца сходит и зовет и кличет: «Дорогой господин! Пожа-

луйте! Все поджидала, — может заедете, брильянтин посмотреть... У меня борщ — первый сорт! Проголодались небось. И рюмка водки »...

Учитель обомлел от неожиданности. Он все ожидал, но не это. Даже в спину ткнул извозчика. — « Куда опять завез, старый дурень! » Так и сказал « старый дурень ». А тот, как обернется, как зыркнет да и на дулся. Глаза же какие-то безумные, черные с желтизной. Учитель их раньше за серые принимал, и это наверно из-за бровей — густых и седых. И усы седые, — все казалось сивым. — Извозчик же на лошадиный хвост уставился, так слова и не промолвил.

- Да слезайте же, милый господин! Что стесняетесь! Я же рада и никто не побеспокоит... Борщ-то очень корош! Умелая я. И рюмка водки есть ». За рукав тянет (рука маленькая) и в глаза смотрит. Чуть смеется и зубы ровные, влажные. Глаза черные с желтизной. Тоже уговаривают. От нее и впрямь борщом слегка пахнуло, в роде как бы оркестр тихо заиграл: на басах капуста всласть проваренная, на высоких нотах грудинка копченая с чесночком состязаются, мясо с жирком мажорную мелодию ведет, красная свекла на бемолях... Захотелось учителю есть необыкновенно. И впрямь проголодался, чувствует.
 - Соглашусь у вас пообедать, если за плату!
- Да, да! Золотым рублем заплатите, а у самой глаза довольством заблестели.

Слез. Тронул извозчик лошадь. Закрылась за учителем дверь...

Комната большая. Потолки низкие. Два окошка малые скупо светят. Стол накрыт чисто. На два прибора, — словно и впрямь ждала. На маленьком столике карты разложены.

Отказался сначала учитель водку пить. Но уж очень просила: «Одолжение сделает. И за мое здоровье, — хозяющки!... Бабы-то лучше девок и их уважать надо!... Борщ не рисовый суп!... »

Выпил учитель. — Рюмка большая. — Огурцом закусил.

Появился борщ. — Грянул оркестр: На басах капуста, грудинка с чесноком на высоких нотах заливаются, а мясо с жирком мажорную мелодию ведет. — Сметанка.. Хозяйка угощает. Черные глаза ее так и

смотрят. — Главная-то мелодия в этих глазах. Вторятто ей: высокая грудь, ласковые слова, да округлые руки...

Одна рюмка. Две рюмки. Три рюмки... Одна тарелка. Две тарелки. Три. — У стен комнаты появился легкий туманец. Некая неуверенность контуров. А весь мир за комнатой забываться стал. Весь механизм, « как часы », культурной жизни, — все эти вопросы этики, эстетики и прогресса превращались в воспоминания, в нереальные вечерние тени, — гнулись, как высокие тополя на ветру, где-то там стоящие...

А хозяйка... с каждой рюмкой, с каждым взглядом ее глаз... хорошела... У учителя появилось ощущение свободы, «можности»...

— « Садись теперь в кресло, сокол мой. А я тебе песню спою, да спляшу! Пиджак сними, свободней будет».

Усадила в кресло. Пиджак сняла сама. — Странно было учителю и странность эта была в-нови...

Она появилась с бубном в руках и, медленно танцуя, начала петь низким голосом, — взывая и рассказывая. И не просто ему — а всем: небу, лесу, миру!...

Потеря-ла!!! (Бум! — послышался звук бубна, глу-хой, как из леса)

Потеряла свово милаво волчица! (рассказывавали погремки бубна).

Потеря-ла! (Бум!)

Потеряла свово мила голубица!

У волчи-цы!

У волчицы, у тигрицы грудь кипит! Голубица тихо стонет и грустит!

Потеря-ла!

Потеряла мово бога!

Стала баба, стала девица убога!

Ма-ать сыра земля!

И вдруг с припевом и зовом:

« Ози! Ози! — Изи-Изи!! » — Она стала носиться и рыскать и искать « свово бога ». — И, словно найдя, вспыхнув! — остановилась перед учителем, запела и заплясала на месте, звякая монистами, бубном, полыхая грудью, коленями, не спуская с него горящих глаз. — В друге новом! — Друга старого найду!

Если спишь! — Тебя я, милый, разбужу!

Ярь-Лели-Ярь!!!

Если спишь! — Тебя я, милый, — разбужу!!!
Повторила она и с силой ударили бубном учителя!
Тот только тряхнул головой. Мысли: обидеться и уйти, — у него не появилось. Он улыбнулся как ребенок, которому пощекотали подбородок. Удар бубна разорвал пуповину. У комнаты исчезли стены. От « прошлого » ничего не осталось. Томило предчувствие. Она же с визгом и криком понеслась по комнате. Подскакивала к нему и отскакивала. Хватала за боролу...

И слух прошел В этом городе провинциальном: Вернулся под утро, Сам с собою разговаривал, Спотыкался.

И где-нибудь в аду,
При желтом пламени дымящем,
Танцуют ведьмы.
Кипит смола.
С печальными глазами грешник. —
Учителева борода.
Но ходил проверяющий,
Увидал глаза печальные —
Спас учителя. —
Ведьм разогнал. —
Ведь печаль, — тоска по небесному.
Плешку оставил...

И снова в гимназии С волосами спелой ржи Вспыхивала девушка... А он — недостойный, С черной ведьмой спознавшийся... Стал поэтом.

ВЕСТЬ АНГЕЛА

Некоторые жизненные подробности, упоминаемые в рассказе, служат для того, чтобы показать, что сама жизнь-вся в мелочах и их так много, что другого не ждешь и не видишь... И, чтобы показать, что героя рассказа надо отнести к категории грешников, вероятно, мелких грешников.

В Вербную Субботу 1958 года я не работал и выспался. За обедом наелся мяса. — Уже давно не соблюдаю я постов, только в Великую Пятницу от мяса воздерживаюсь.

После обеда поехали мы, — я и моя жена Анастасия Алексеевна, — в Робенсон проведать наших друзей: ему восемьдесят, ей под семьдесят и оба здоровьем плохи.

Приехали. Стучим. Никто не отзывается, а дверь не заперта. Входим. — Никого. Кричим. — Никого. Сели. Сидим прочно. Пустили радио. А потом слышим шаги: кто-то спускается по внутренней лестнице. Сильно шмыгает. — Оказывается, — хозяин. То ли отсиживался он там в надежде: может уйдут, то ли по глухоте не слыхал и лишь радио дало ему понять, что кто-то есть.

Хозяин здоровается вяло. Сказал: «Ноги заплетаются». Сразу сел и молчит в неподвижности. Одни глаза его нас «взвешивают» и читают наши мысли. Но я не хуже, тоже его мысли читаю и вижу: сильно он огорчен и затаил обиду. — О, не на нас! На нас — не за

что. А на большее. Догадался, о чем именно, только после...

Анастасия Алексеевна стала хозяйничать, чтобы напоить его и нас чаем и угостить привезенным пирогом. Я выложил свой традиционнный подарок: полфунта чаю «делишиус». Обычно, большой успех имел, а теперь, — никакого.

Пьем чай. Стук! Входят две дамы, знакомые их, а не наши. Пальто и шляпы не сняли. Сели. Нахохлились. Хозяин молчит и читает их мысли. — А я?! — Пришлось занимать разговором, улыбаться и проявлять интерес. В это время Анастасия Алексеевна поит их чаем и угощает пирогом. А потом и она вступила в разговор. — И обнаружилось, что у нея есть сын и у одной дамы-сын, и оба химики! И пошло! Пустились со всеми подробностями!...

Хозяин молчит. Ну, думаю, пришел мой конец! Опять будет стук. Опять — две новых дамы. Опять поить чаем. Опять занимать разговором. И опять у новой дамы сын, и вдруг тоже химик! — Стал жену тащить домой, а та еще про своего сына не договорила. — Насилу вытащил...

За ужином тоже было мясо. Анастасия Алексеевна сказала, что все рыбники закрыты и спрашивает: почему? — Я считаюсь, что все знаю (и ничего не умею), — сослался на католическую Великую Субботу. Но уверенности не было, и быстро перевел разговор...

По субботам у меня бридж. В эту нашу Вербную Субботу — тоже, котя и было немножко стыдно. Решил перед бриджем зайти в церковь. По дороге встречаю идущих из церкви. — Уже не опоздал ли? Навстречу, — знакомая, старая и очень глухая тетка Дедкиных. Кричу-спрашиваю: «Кончилось!?!» (Как крикнул!). А та остановилась, глаза серые вытаращила и с испугом на меня смотрит, а понимать-не понимает. Другая дама проходила — слыхала и говорит: «Успете еще» и проплыла, кивая головой, — в тумане и вечере. — Плавно вышло. И тут мне сразу вспомнился рассказ Марьи Петровны, что в Ле Гран Муазоне в местном кастеле стоит статуя небольшого ангела (белое с голубым), а рядом кружка. Я спросил тогда:

— « А кружка большая? » Оказалось : « Да ».

И вот, если опустить монету в кружку, то ангел кивает головой! — И тут дама кивала головой, а я денег в кружку не опускал. И дама-не ангел. О! Далеко нет! Но может быть предчувствие ангела было в этом.

Спешу в церковь. Народу тьма. Даже в коридоре набито. Надо было бы пробраться купить свечку и зеленых веток буксуса, заменяющих пальмовые ветви Палестины и наши скромные вербы (прекрасные!). Но я спешил. — Стоять, думаю, может быть пять минут, а, если пробиваться за свечкой, то и эти минуты потеряешь..., с другой стороны, стыдно признаться. — для пяти минут, — денег стало жалко. — Денег-то у человека негусто.

Пробиваюсь, как могу. Не за свечкой, а в залу при церкви. — Удалось! Вошел. Стою — слушаю службу. Рядом-дама и с ней мальких лет четырех. Русый. — что он видит в этой толпе? Что слышит? — В темноте чужих пальто, как в дремучем лесу. Свечку ему не дали, — еще подожжет! Но держит пук зеленых веток. — И говорит мне мальчик тихо: «На тебе, — у тебя нету». И сует мне в руку свой пучек. — Я взял. Все. (Не подумал). Тихо: «Спасибо» сказал и стал слушать службу. И представлять картину входа Господня в Иерусалим. — Христос на осляти. Толпа народа с ветками кричит! Бросают под ноги осленку одежды! — «Осанна!!!» — И вышло у меня так живо и отчетливо, словно сам был! Словно в ясновидении!...

А в это время мать мальчика заметила, что у него нет веток. —

— « Куда дел? », спрашивает.

А я ей почему-то по французски отвечаю-оправдываюсь. —

- « Это он мне их сам дал, сказав : у тебя нет. И я ему очень благодарен ».

А она мальчику : « Да, но ты же их должен отнести бабушке! »

Я возвращаю ветки и уже по-русски говорю: «Большое спасибо и простите». Мальчик берет. Но вижу ему грустно. И в душе его скрыто: сделал доброе дело и — не стало! Мать видимо что-то заметила. — «Мы дадим дяде веточку», говорит и отломала мне очень маленькую. — Я еще раз поблагодарил и даму и мальчика.

Народ стал медленно двигаться-прикладываться. И мне очень хотелось поднять мальчика к иконе, но нас разделили. У иконы я получил освященную ветку. Большую (вероятно по знакомству), но маленькая ветка мальчика мне была явно дороже и держал я ее с любовью, и настроение у меня было радостное и радость не утижала.

После церкви я рассказал про мальчика Марье Петровне. Она была очень довольна и глаза ее светились. Рассказал и бриджистам (были среди них тертые калачи). — Все улыбались и чему-то радовались. — Я даже удивлялся успеху рассказа и жалел, что не было у меня в церкви в кармане конфет, чтобы дать мальчику...

Только потом, по этой упорной радости оставшейся у меня, неожиданно светлой и длящейся дни и недели, я стал догадываться, стал предполагать, что был Ангел и через мальчика дал мне Ангел знать, что не забыт и я. — И знак этот мне очень нужен.



(Напечатано в « Русской Мысли ». — Париж)

СОДЕРЖАНИЕ

«ЧЕРВЬ ЗЕМЛИ» Повесть.

	Стр.
Гв. 1 — Земляной червяк.	7
Гл. 2. — Рахиль и Ив.	8
Гл. 3 — Появление Достоевскогоч хх хх ххх	13
Гл. 4 — Появление « Мая 1968 г. ».	22
Гл. 5 — Достоевский — символист и пророк.	27
Гл. 6 — Сравнение.	31
Гл. 7 — Ив тяжело заболел.	36
РАССКАЗЫ	
1. — ВИРГИЛИЙ.	41
2. — СЛАБОЕ ВОСПОМИНАНЬЕ.	44
3. — В ГОРОДЕ БЕЗ НАЗВАНИЯ.	49
4. — ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЧЕПУРИН.	52
5. — ПРИГЛАШЕНИЕ ПРОВЕСТИ НЕСКОЛЬКО	
дней в деревне.	58
6. — ХЛЕБ.	65
7. — ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВЕДЬМА.	70
8. — ВИЛКА.	77
9. — НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ.	80
10. — ДОСТОЙНА.	84
11. — ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ?	91 95
12. — УЧИТЕЛЬ.	95 105
13. — ВЕСТЬ АНГЕЛА.	109

Продается:

y « Les Editeurs Réunis »

11, rue de la Montagne Ste. Geneviève, Paris 5e; ODE : 74-46

у « Офени », 8, rue Boucicaut, Paris 15e; VAU: 82-18

у автора:

G. OZERETZKOVSKY, 6, rue de la Saïda, Paris (15e) VAU: 24-67